

Валерий
Михайлов

ИВОЛГА, ЛЕСА ОТШЕЛЬНИЦА

(книга о Николае Заболоцком)

Глава двадцатая БЕГОВАЯ ДЕРЕВНЯ

СВОЯ КВАРТИРА

В конце сороковых годов на одном из окраинных пустырей на западе столицы, где Беговая улица сходится с Хорошевским шоссе, вырос необычный жилой массив. Его построили пленные немцы. Это были внушительных размеров двухэтажные каменные особняки, снаружи, в духе времени, слегка подампиренные: с лепниной на фасадах и двумя белыми колоннами. Дома стояли просторно, окруженные палисадниками в молодой зелени, с опрятными асфальтовыми дорожками. По окраске – чуть веселее серых громад Москвы: зелёные, жёлтые, голубые. И всё это огорожено узорной чугунной решёткой, – попасть сюда можно было лишь через въездные ворота. Рядом суетливо шумела улица Беговая, грохотало грузовиками Хорошевское шоссе, а тут покой и почти что сельская тишина. Словом, не то город, не то пригородный дачный посёлок, – даже почтовый адрес один на всех: Беговая, 1-а.

В этом уютном городке и получили Заболоцкие квартиру, – Александр Александрович Фадеев умел выполнять обещания.

Первой новость узнала Марина Чуковская, – ей сообщил по телефону Виктор Викторович Гольцев. Сам он в тот раз квартиры не получил, но радовался за бездомного Заболоцкого. Чуковские – Марина и Николай – к тому времени уже обзавелись жильём в Москве и Переделкино покинули. Николай Алексеевич, бывая в городе, частенько заглядывал к ним, а если задерживался в гостях, то оставался ночевать. Марина Николаевна сумела прикрепить Заболоцких к своему закрытому распределителю и сама отоваривала их продкарточки. Екатерине Васильевне после утомительной дороги в Москву не надо было выстаивать очереди – она просто заезжала к Чуковским и забирала нагруженные сумки. В тот день как раз должна была забрать полученные накануне продукты...

«Потом потянулся день, полный забот-хлопот, – вспоминала впоследствии Марина Николаевна Чуковская, – потом приехала Екатерина Васильевна, мы начали волнующий разговор о продуктах, потом она рассказала, как, возвращаясь поздно вечером со станции, Николай Алексеевич в талом снегу утопил калошу, а где взять ордер на калоши? На рынке покупать очень дорого. И мы долго говорили о калоше,



а потом в городе у неё были дела, она быстро убежала, а я... я забыла сказать ей о квартире! В ужасе вспомнила, когда она уже ушла. Но дело можно было поправить – она должна была вернуться и забрать тяжёлые сумки. С нетерпением поджидала я звонка, на чём свет кляня свою забывчивость. И сразу выпалила ей радостную новость. Что тут было! Как девочка, запрыгала Екатерина Васильевна в передней и заявила, пусть Николай Алексеевич и дети думают что хотят, пусть не спят от беспокойства за неё хоть всю ночь, но она не уедет, пока не удостоверится, что эта новость не пустые слухи. И уехала уже ночью, последним поездом».

Квартира – две комнаты, одна побольше, другая поменьше, с крохотной кухней – была на первом этаже. В большой комнате устроили рабочий кабинет поэта, одновременно это была ещё и гостиная, и спальня родителей; вторая комната стала детской. Николай Алексеевич самолично обходил мебельные комиссионки, подбирая что-нибудь по душе. Благо, появились деньги: жена съездила в Ленинград и продала дачу на Сиверской, оставленную ей в наследство дядей. Так в скромной квартире на Беговой появилось несколько старых предметов красного дерева: буфет («Ну, прямо университет!» – шутил Заболоцкий), секретер, письменный стол, книжный шкаф. Отныне поэт стал заглядывать в Книжную лавку писателей и подбирать себе библиотеку. Она оказалась гораздо меньше той, что прежде была у него в Ленинграде. В основном это была классика – русская и мировая, справочная литература, мировой народный эпос, – одних русских былин десятка два томов, из философских сочинений – Платон, Скворода и другие. «Представлены были и Брюсов, Клюев, Есенин, Пастернак, Мандельштам, Мартынов, Слуцкий, ещё несколько интересовавших его авторов. Но сознательно не были включены в библиотеку произведения Маяковского, Ахматовой, Исаковского, Твардовского, Сельвинского и целого ряда других советских поэтов», – сообщает Н. Н. Заболоцкий. И прибавляет: когда Николай Леонидович Степанов подарил ему, школьнику, для уроков по литературе собрание Маяковского, отец отнёсся к этому «очень неодобрительно» и чуть ли не обиделся на своего старого друга. Но на самом видном месте в книжном шкафу стояли (до 1956 года, подчёркивает сын-биограф) сочинения Ленина и Сталина: поэт не сомневался, что за ним, вчерашним заключённым, продолжается догляд органов, и наверняка кого-то из гостей и уж тем более домработницу подробно выспрашивают о настроении и разговорах в доме.

Соседями Заболоцких на площадке четырёхквартирного особняка оказались Казакевичи; неподалёку жили Степановы, Каверины, Гольцевы, Андрониковы, Либединские, Гроссманы и другие писательские семьи. А вообще «Беговая деревня» (как вскоре прозвали местные остроумцы свой городок) была заселена как людьми искусства, так и военными, рабочими, служащими.

Вспоминая то время, Лидия Борисовна Либединская писала: «В памяти всех ещё живы были трудные военные годы, и люди особенно остро ощущали радость мирных будней. Жили на Беговой, несмотря на все различия, дружной и слаженной жизнью. Принимали близко к сердцу все события в жизни соседей, радовались удачам, старались облегчить невзгоды. Здесь всех детей знали по именам. А по вечерам, когда позади оставался день, исполненный трудов, забот, заседаний, ходили друг к другу в гости. Короче говоря, жители этого посёлка хорошо знали друг друга».

Ей особенно запомнилось знакомство с Николаем Заболоцким:

«Но вот однажды я увидела в окно незнакомого человека. Он шёл по гладкой асфальтированной дорожке размеренной степенной походкой, держа в руках тяжёлую палку. Вот он встретил кого-то, вежливо, с достоинством поклонился, задержался на несколько мгновений и снова, так же спокойно, продолжал свой путь. Одет он

был тщательно и даже подчёркнуто аккуратен, но без особой элегантности. Тёмное летнее пальто застёгнуто на все пуговицы до самого подбородка, добротная фетровая шляпа жила на голове сама по себе, сохраняя магазинную первозданность.

А через несколько дней, придя вечером к профессору Н. Л. Степанову, я увидела за столом этого человека.

– Заболоцкий».

Она с юности любила «Столбцы», с огромным удовольствием читала в журналах «Чиж» и «Ёж» его и других обэриутов:

«Я смотрела на него с робким благоговением и вместе с тем не могла скрыть своего любопытства и откровенно разглядывала его. В его наружности и одежде не было и следа той артистической небрежности и свободы, которая подчас отличает людей искусства. Он был чисто выбрит, светлые волосы аккуратно расчёсаны на косой пробор. Движения точные и немного скованные. Он никогда не жестикулировал и не повышал голоса. Взгляд больших серо-голубых глаз из-под очков с толстыми стёклами казался строгим и неподпускающим. Но вот в разговоре Заболоцкий неожиданно снял очки – и сразу всё изменилось: на меня взглянули ласково-заинтересованные и усталые глаза человека, много и незаслуженно перестрадавшего, но не потерявшего доброго отношения к миру. Эта непреходящая, годами накопленная усталость во взгляде плохо сочеталась с его округлым, ровно румяным, без единой морщинки лицом.

В тот вечер Заболоцкий был весел и оживлён. Ему выдали ордер на получение квартиры в одном из вновь отстроенных особнячков. Как он радовался, что после стольких лет лишений получил наконец возможность спокойно жить и трудиться...»

По свидетельству Л. Либединой, вскоре в «Беговой деревне» дом Заболоцкого стал одним из самых притягательных для посиделок. «По вечерам за гостеприимным столом собирались друзья. И, благо, не надо было торопиться на городской транспорт, засиживались далеко за полночь, слушая рассказы Ираклия Андроникова, острые шутки Эммануила Казакевича, фронтовые истории Виктора Гольцева, нередко звучали здесь голоса грузинских поэтов. Долго не гас свет в маленьких комнатках Заболоцкого, и робкая зелень тоненьких, как прутики, только высаженных деревьев казалась неестественно яркой в электрическом освещении».

Николай Алексеевич обстоятельно готовился к очередному застолью: посылал в центр за хорошим коньяком, водкой и своим любимым вином «Телиани», обсуждал с женой, что будет на закуску и горячее: хорошо угостить друзей у себя дома было для него явным удовольствием. Он сам обзванивал всех приглашаемых, сам встречал гостей у порога и сам же провожал их по окончании застолья, важно повторяя при этом свою излюбленную шутку: «В борьбе гостя со своим пальто хозяин должен быть на стороне гостя».

Никита Заболоцкий пишет в своей книге:

«Вообще говоря, Заболоцкий любил дружеское общение, но судьба и время слишком редко посылали ему единомышленников. В московской квартире стали собираться близкие ему люди. Определились стиль дома и негласные требования к посетителям. Следовало проявлять уважение, но без чрезмерных душеизлияний и восторгов, следовало быть искренним, но не фамильярным, нельзя было насильно навязывать своё общество, своё мнение. Существовали дозволенные рамки в разговорах, некоторые темы были нежелательны: нельзя было критически обсуждать политические новости, расспрашивать о молодости Николая Алексеевича, о годах его заключения, читать и хвалить его ранние стихи. Заболоцкий ревностно охранял свой внутренний мир и не хотел напрасно беречь едва зажившие душевные раны.

Сам он был неизменно вежлив и сдержанно-радушен. Основательностью, надёжностью и цельностью своей он привлекал к себе людей, будь то писатель, шофёр такси или слесарь-водопроводчик. Он никогда не позволял себе грубой или запанибратской формы разговора, а лишь временами – иронический или шуточный тон по отношению к близким людям. Ему нравилась грузинская манера общения – через некоторую условность и ритуальность, застольный разговор и дружеские тосты, в которых любовь и уважение выражались не прямо, а как обряд, часто с помощью вспомогательных образов».

В доме, кроме близких по духу писателей-соседей, бывали и грузинские поэты с жёнами: Чиковани, Леонидзе, Жгенти, ленинградские друзья Шварцы и Гитовичи, Бажаны из Киева. Порой заходили и случайные посетители – в основном молодые московские поэты, желавшие побеседовать с именитым мастером. С некоторыми из них – П. Семьиным, А. Сергеевым, Ю. Мориц Заболоцкий беседовал охотно, но обычно таких незапланированных встреч сторонился...

В дружеское застолье на Беговой не обходилось без чтения стихов: гостям Заболоцкого хотелось узнать, что нового написал поэт. Николай Алексеевич читал по настроению – то что-нибудь шуточное, то из лирики. Доставал папку со своего рабочего стола, перебирал листы – читать наизусть он не любил.

Никита Николаевич вспоминал, что у Заболоцкого была особая манера чтения стихов:

«Он характерно подчёркивал голосом определённые звуки, часто согласные, и звуковые повторы. Конец строки читался без растягивания гласных, твёрдо, даже отрывисто. Каждое слово произносилось чётко. И вместе с тем в чтении была своеобразная смысловая музыкальность.

Гости слушали, делились впечатлениями, просили прочитать что-нибудь ещё. Николай Алексеевич читал другое стихотворение, иногда особенно удавшийся ему перевод, либо решительно закрывал папку и убирал её».

Эти домашние чтения, разумеется, не могли заменить поэту печатного общения с читателем. В конце сороковых – первой половине пятидесятых годов Заболоцкий крайне редко появлялся со своими стихами в журналах. Как и всякому автору, читательский отклик был ему необходим. Тем внимательнее он выслушивал мнения товарищей. Друзья ставили его рядом с Пастернаком, говорили, что рано или поздно всё это напечатает – и тогда Заболоцкий станет широко известен. Но когда это случится – никто сказать не мог. Тем временем прежняя известность поэта, на целых десять лет отлучённого от литературы, изрядно поблёкла, имя его почти забылось. В общем-то вся его теперешняя слава почти не выходила за пределы весьма узкого товарищеского круга, и выход третьей, сильно урезанной книжки не исправил положения.

СЛОВА-СВЕТЛЯКИ

Ещё в декабре 1947 года, поздравляя своего ленинградского наставника по институту Василия Алексеевича Десницкого с юбилеем, Заболоцкий говорил, что пишет трудно, с напряжением, многое в своих стихах ему самому не нравится, и что с годами он утратил детскую свою самоуверенность. Было в письме и куда более важное признание – в том, что он «(...) вероятно, немножко научился присматриваться к людям и стал любить их больше, чем раньше».

Приложил к письму несколько свежих стихотворений, среди которых было одно весьма необычное – «Жена» (1948). Сюжет прост: важный, самовлюблённый и требовательный сочинитель, который с утра всё пишет и пишет, – и робкая.

послушная, преданная ему жена, с пристально-нежным светом глаз, боящаяся и половицей скрипнуть, чтобы не помешать *творческому процессу*.

Так кто же ты, гений вселенной?
Подумай: ни Гёте, ни Дант
Не знали любви столь смиренной,
Столь трепетной веры в талант.

О чём ты скребёшь на бумаге?
Зачем ты так вечно сердит?
Что ищешь, копаясь во мраке
Своих неудач и обид?

Но коль ты хлопочешь на деле
О благе, о счастье людей,
Как мог ты не видеть доселе
Сокровища жизни своей?

Десницкий, прочитав, тут же сказал Екатерине Васильевне: это о тебе. Но его бывшая студентка возразила: есть-де в Переделкино такая супружеская чета, с которой и «списано». «Всё равно о тебе!» – не согласился Десницкий.

«И в определённой степени был прав», – подтверждает Никита Заболоцкий в своей книге слова старого педагога. Потому как поэт уже далеко не впервые соединил в этом стихотворении «своё личное, почти автобиографическое с обще-человеческим и даже общесущим».

Личное – было в недавнем стихотворении «В новогоднюю ночь», напрямую обращённом к подруге жизни:

Вспомни, как, бывало, в Ленинграде
С маленьким ребёнком на груди
Ты спешила, бедствуя в блокаде,
Сквозь огонь, что рвался впереди.

Смертную испытывая муку,
Сын стремглав бежал перед тобой.
Но взяла ты мальчика за руку,
И пошли вы рядом за толпой. <...>

Как давно всё это пережито...
Новый год стучится у крыльца.
Пусть войдёт он, дверь у нас открыта,
Пусть войдёт и длится без конца.

Только б нам не потерять друг друга,
Только б нам не ослабеть в пути...
С Новым годом, милая подруга!
Жизнь прожить – не поле перейти.

Без изысков, просто и сердечно. И – по Боратынскому: как бы ни мудрствовал человек, в конце концов всё укладывается в *точный смысл народной поговорки*.

... Впрочем, это стихотворение написано, так сказать, для домашнего пользования – только для жены, – вряд ли Заболоцкий собирался его печатать. Несомненно: уж он-то хорошо знал и ценил *сокровище жизни своей*, – да это хорошо видно и по письмам к Екатерине Васильевне из неволи.

Однако друзья и товарищи подмечали: Заболоцкий в домашнем быту порой проявлял крутой нрав. В воспоминаниях – про всё это скупо, без подробностей, но намёки есть. Пожалуй, откровенней всех свидетельство Марины Николаевны Чуковской:

«В своей семье Николай Алексеевич был властелином. Несмотря на изысканную вежливость и корректность, в нём иногда проступала не только твёрдость, а даже жёсткость и беспощадность. А уж прощать Николай Алексеевич совсем не любил. И не прощал».

Но это взгляд со стороны. А вот изнутри. Дочь поэта, Наталья Николаевна, в канун столетия со дня рождения отца, вспоминая жизнь на Беговой, писала:

«Провинности детей его глубоко расстраивали. Брату при малейших его школьных неудачах он торжественно объявлял, что тот будет милиционером. Рассердившись на меня за то, возможно, что я вечно была недовольна жизнью, или за грубость, безнадежно горько говорил: “Мне ясно, что ты похожа на моих сестёр, и ничего хорошего из тебя не выйдет. Трудно будет тебе жить...” Почему-то это было очень обидно.

С другой стороны, я была склонна к скоропалительной критике, едва только, как мне казалось, папа отклонялся от моего идеала. На такие выпады ответом был лишь внимательный взгляд, и никакого гнева. Если мною высказывались “премудрые мысли”, строго говорил: “Надо карандашиком записывать в тетрадку”. Я была склонна обижаться, подозревая иронию.

Мне часто советовал не разбрасываться и не торопиться. “Главное, чтобы капелька за капелькой падала в одну точку. Тогда и маленькая капелька горы разрушит”.

Если задавался вопрос по поводу непонятных слов или явлений, строго отсылал к словарю».

Ну, и где тут *беспощадный властелин*?..

Можно, конечно, предположить, что в стихотворении «Жена» поэт по касательной задевает и себя, критично высказываясь об издержках собственного характера. Стало быть, он внимательнее присматривался не только к людям, но и к себе самому.

И, наверное, поэтому в эту пору его особенно занимает тема поэтического творчества. В стихотворении «Жена» она поставлена со всей остротой:

О чём ты скребёшь на бумаге?..

Этот вопрос – ко всем сочинителям, но в первую очередь он направлен к себе самому.

Разговоры о «Столбцах» и «Торжестве земледелия» негласно запрещены в его доме. Опасная и болезненная тема, если вспомнить, как травила его за книгу и поэму литературная критика и чем закончилась эта травля. В культурной политике всё по-прежнему – как и в конце тридцатых годов, и память о *враге народа и его породившем творчестве* никуда не делась...

С другой стороны, та перемена стиля и языка, что произошла в Заболоцком после первой книги, тема слишком сложная, чтобы можно было походя задевать её в застольных беседах. «Столбцы», может быть, и гениальны, но их поэтика не

универсальна. Жизнь – в изменениях, превращениях, метаморфозах. Точно так же меняется и отношение к средству выражения мыслей и чувств – к языку.

С предельной взыскательностью и строгостью зрелое отношение Николая Заболоцкого к языку определено в стихотворении «Читая стихи» (1948):

Любопытно, забавно и тонко:
Стих, почти не похожий на стих.
Бормотанье сверчка и ребёнка
В совершенстве писатель постиг.

И в бессмыслице скомканной речи
Изошрённость известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
В жертву этим забавам принести?

И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?

Нет! Поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она
Не для тех, кто играет в шарады,
Надевает колпак колдуна.

Тот, кто жизнью живёт настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

Кто-то относил это произведение к скрытой полемике с Борисом Пастернаком (хотя, по нашему мнению, «прототип» всё-таки больше похож на Осипа Мандельштама), – сам же Заболоцкий решительно отвергал подобное мнение. Тут как раз таки – *общесущее*; тут – отрицание поэтической игры ради игры и утверждение *неслыханной простоты* – настоящего искусства, а не искусных его поделок. И, конечно же, всё это обращено и к самому себе, к своему творчеству, прошлому и нынешнему.

Поэт, наверное, потому так и серьёзен, что уверен: *словом* пронизана вся жизнь, всё мироздание.

В ночной чёрной мгле, под небом, что играет «как колоссальный движущийся атом», ему чудится, будто «в другом углу вселенной» в этот же самый миг какой-нибудь поэт тоже, как он, стоит в саду и думает,

Зачем его я на исходе лет
Своей мечтой туманной беспокою.

(«Когда вдали угаснет свет земной», 1948)

Мотив творчества возникает и в ещё одном стихотворении этой поры – «Приближался апрель к середине» (1948). Казалось бы, оно о весне, о природе – но вот появляется в нём незнакомец, с ковригой хлеба в одной руке и старой книгой в другой (показательное соседство хлеба и слова):

Лоб его бороздила забота,
И здоровьем не выдалось тело,
Но упорная мысли работа
Глубиной его сердца владела.

Пробежав за страницей страницу,
Он вздымал удивлённое око,
Наблюдая ручьёв вереницу,
Устремлённую в пену потока.

В этот миг перед ним открывалось
То, что было незримо доселе,
И душа его в мир поднималась,
Как дитя из своей колыбели.

А грачи так безумно кричали
И так яростно ветлы шумели,
Что казалось, остатки печали
Отнимать у него не хотели.

Кто он, этот странный человек? Не самого ли себя встретил поэт?..

Никита Заболоцкий вспоминает, как в начале июля 1949 года они всей семьёй отправились в Крым. Неделю отдыхали в Гурзуфе у Томашевских, в домике на берегу моря. Потом поехали в Сочи к сестре Екатерины Васильевны – Ольге Васильевне, которая там жила с мужем и сыном. «В один из вечеров был устроен поход в открытый кинотеатр прибрежного санатория на опереточный фильм “Цыганский барон”. Возвращаясь домой, недовольный плохой кинокартиной и сожалея о напрасно потерянном времени, Заболоцкий остановился передохнуть на обрывистом берегу моря. В том году он начал полнеть, и сердце его не справлялось с повышенными нагрузками. Пока дети ловили светлячков, вьющихся около кустов олеандра и самшита, он стоял поодаль, у обрыва, под которым шумело море, и вдруг стал торопить детей идти домой, так как с моря надвигалась гроза. Казалось, он тяготился прогулкой и был погружён в какие-то свои мысли, а между тем запечатлел в сознании и рой светлячков, и шум моря, и громыхание далёкой грозы. В светящихся точках насекомых он “звёздное чуял дыханье” и по какой-то аналогии вспомнил рассуждения обэриутов о смысловом многообразии слов, рассуждения, уже в 50-х годах обобщённые им в двух черновых строчках: “Под поверхностью каждого слова шевелится бездонная тьма”. <...> Прошло несколько дней, и Заболоцкий прочитал стихотворение “Светляки” <...>».

Слова – как светляки с большими фонарями.
Пока рассеян ты и не всмотрелся в мрак,
Ничтожно и темно их девственное пламя
И неприметен их одушевлённый прах.

Но ты взгляни на них весною в южном Сочи,
Где олеандры спят в торжественном цвету,
Где море светляков горит над бездной ночи
И волны в берег бьют, рыдая на лету.

Сливая целый мир в единственном дыханье,
Там из-под ног твоих земной уходит шар,
И уж не их огни твердят о мирозданье,
Но отдалённых гроз колеблется пожар.

Дыхание фанфар и бубнов незнакомых
Там медленно гудит и бродит в вышине.
Что жалкие слова? Подобье насекомых!
И всё же эта тварь была послушна мне.
1949

Да, эта тварь была ему послушна.

Но светляки-слова – лишь частицы Света, излучаемого Словом; они прилетают будто сами по себе и так же вдруг могут исчезнуть – надолго или навсегда.

В последующие три года стихи у Заболоцкого – не появлялись...

«АГЕНТУРНО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО...»

А может, Заболоцкий сам отгонял от себя эту назойливую мошкарку – слова-светляки?..

Сын-биограф, размышляя об этих трёх годах, пишет про отца-поэта:

«Он сознательно до отказа загружал себя переводами, чтобы истратить на них всю свою творческую энергию. Потом он не раз говорил, что грузины должны были бы поставить ему памятник, имея в виду не только высокое качество своих переводов, но и труд, и годы, затраченные на эту работу и потерянные для собственного творчества. Однако обстановка в стране была такова, что писать свои стихи он всё равно не мог и не хотел.

Время было тревожное. В газетах и на собраниях громили “безродных космополитов”, “идеологических диверсантов”, “пособников мирового империализма”. <...> Усиливались репрессии... Статья в “Правде” или в “Культуре и жизни” могла чуть ли не физически уничтожить любого писателя, невзирая на его заслуги и известность. По утрам Заболоцкий доставал из почтового ящика газету и ещё посреди комнаты торопливо разворачивал её. Пробежав глазами “подвальную” статью, посвящённую очередной жертве, он негромко говорил жене:

– Вот. Опять! <...>».

Вспомним Ахматову, её признание о временах гонений:

<...> петь я

В этом ужасе не могу.

Но ведь всё равно – *нели!*..

Не всё так просто, и, конечно, не всё напрямую связано с политической атмосферой. Ещё меньше вдохновение зависело от воли и желания писать или же молчать. Творчество – штука прихотливая: то приливы – то отливы, то взлёты – то падения. Даже переводы... казалось бы, обыденный ремесленный труд, но и те порой, непонятным образом, не шли:

«Дорогой Симон!

10-го числа я получил твой подстрочник и два дня просидел над ним. И веришь ли? – у меня ничего не получилось! То ли полоса такая нашла, то ли подстрочник в самом деле труден с его чёткими формулировками, – вернее, и то другое вместе, – но факт тот, что перевод не удался. <...>

Всё это весьма печально, но я добросовестно приложил все усилия к тому, чтобы исполнить твою просьбу, и в этом отношении моя совесть перед тобой чиста. Постарайся на меня не очень сердиться: знаешь сам, что ремесло наше капризное и не всегда можно сделать то, что хочется». (Из письма к С. И. Чиковани от 16 января 1949 г.)

Волна поэтического вдохновения, что нахлынула на поэта в Сагурамо, постепенно ослабла, сошла на нет. Одним из последних её всплесков стало стихотворение «Тбилисские ночи» – возвышенно романтическое признание в любви к земле Грузии в лице и образе некоей грузинской красавицы:

Отчего, как восточное диво,
Черноока, печальна, бледна,
Ты сегодня всю ночь молчаливо
До рассвета сидишь у окна? <...>

Хочешь, завтра под звуки пандури,
Сквозь вина золотую струю
Я умчу тебя в громе и буре
В ледяную отчизну мою?

Вскрикнут кони, разломится время,
И по руслу реки до зари
Полетим мы, забытые всеми,
Разрывая лучей янтари. <...>

Ты наутро поднимешь ресницы:
Пред тобой, как лесные царьки,
Золотые песцы и куницы
Запоют, прибежав из тайги.

Поднимая мохнатые лапки,
Чтоб тебя не обидел мороз,
Принесут они в лапках охапки
Перламутровых северных роз.

Гордый лось с голубыми рогами
На своей величавой трубе,
Окружённый седыми снегами,
Песню свадьбы сыграет тебе. <...>

Это написано в конце 1948 года. А вскоре – лирическая немота, из стихов – только иронические или шуточные строки *на случай*. Такие вот, например, – куда как далёкие от поэтических красот, зато близкие к новому месту проживания – Беговой деревне:

СЧАСТЛИВЕЦ

Есть за Пресней Ваганьково кладбище,
Есть на кладбище маленький скит,
Там жена моя, жирная бабища,
За могильной решёткою спит.

Целый день я сижу в канцелярии,
 По ночам не тушу я огня,
 И не встретишь на всём полушарии
 Человека счастливей меня!
 1950

Или же домашняя эпиграмма:

Не стало в доме мне житья,
 Исколото всё тело:
 На курсах кройки и шитья
 Жена осатанела.
 Зима 1949-1950

Эту эпиграммку поясняет письмо Заболоцкого к Шварцам от 15 июля 1950 года, написанное *советским газетным штилем*:

«Моё семейство ознаменовало (курсив мой. – В. М.) лето рядом крупных достижений: а) Наталья сдала экзамены на пятерки и перешла в 7-й кл. б) Никита, сдав экзамены, получил аттестат зрелости с пятью четверками, остальные – 5. с) Моя законная жена с отличными показателями закончила всемирно известные Курсы Кройки и Шитья и получила *соответствующий* диплом, вызывающий удивление во всей округе. Что касается меня, то я закончил свой труд (Важа Пшавела, том поэм) и 15-го еду доделать его на месте и сдать в Тбилиси в изд-во».

Очередная шутка адресована самому себе:

Мне жена подарила пижаму,
 И с тех пор, дорогие друзья,
 Представляю собой панораму
 Исключительно сложную я.
 Полосатый, как тигр зоосада,
 Я стою, леопарда сильней,
 И пасётся детёнышей стадо
 У ноги колоссальной моей.
 У другой же ноги, в отдаленье,
 Шевелится супруга моя...
 Сорок семь мне годков, тем не мене –
 Тем не мене – да здравствую я!
 1950

Вот, по существу, и всё, что за три года написано в стихах, не считая, конечно, переводов. Впрочем, был ещё короткий стишок – дарственная надпись Семёну Липкину на книге Важа Пшавела:

Семён, напрасно люди врут,
 Что Цезарь – я, а Липкин – Брут,
 А потому, хоть я и крут,
 Дарю тебе сей дивный труд.

Но вернёмся к *воздуху времени* – столь предгрозовому, душному, что его вполне можно бы назвать – удушающим: по крайней мере, таким он стал для лирики Заболоцкого.

Знал или нет Николай Заболоцкий о принятом 21 февраля 1948 года законе, согласно которому все бывшие *контрики* – отсидевшие по 58-й статье – подлежали высылке из столичных городов в отдалённые районы страны или же новому заключению? Если и не знал, наверняка догадывался о том, что висит на волоске. Домашние запомнили, с каким недоверием изучал он свою новую *краснокожую паспортину*, выданную по отсидке срока. Может, вначале он только подозревал, но потом уже твёрдо знал: в серии паспорта зашифрована его судимость. *Социализм есть учёт*, и этот основополагающий постулат первым делом касался *врагов народа*. При виде милиционера Заболоцкий старался любым способом избежать прямой встречи, опасаясь проверки документов. Да и с другими служебными людьми старался быть осторожнее. Екатерина Васильевна вспоминала: «Очень давила эта паспортная серия. Передвигаться по стране самостоятельно Николай Алексеевич не решался. В гостинице, где он должен был остановиться, он просил Союз писателей забронировать номер заранее главным образом потому, что боялся придинок к его паспорту».

Семён Липкин в рифму, но с документальной точностью описал случай, приключившийся однажды в начале зимы 1948 года с Николаем Алексеевичем в пригородном поезде:

Он у Кавериных нашёл покой и дом,
Но помнил лагерь Казахстана,
А я квартировал вблизи, и мы вдвоём
Садились в поезд постоянно,

И возвращались мы в вечернем феврале,
Сходясь на Киевском вокзале.
Вольготно водочкой с икоркой на столе
При корифее торговали.

С подначкой, с шуточкой, у каждого портфель,
Откушали – я сто, он двести –
И в пригородный! Пусть шумит себе метель,
Мы будем через час на месте.

Но что с ним? Оборвал свой смех. Взгляд напряжён.
Смотрю туда же: грязь, окурки,
Две тётки на скамье, а третий – кто же он?
Очки. Треух. Тулупчик. Бурки.

«А в тамбуре – второй. Сейчас меня возьмут».
Застывший взгляд и дробный шёпот.
О, долгий ужас тех мистических минут,
О, их бессмысленность и опыт!

Мы в Переделкине сошли. Сошёл и тот.
А некто в форменной тужурке:
«Где будет Лукино?» – «Вон там». – И поворот.
И я оглядываюсь: бурки!

Оставили шоссе. Свернули в Лукино.
Дошли проулками до дачи.
Безлюдно и черно. Чуть светитится окно.
Есть водка. Будет чай горячий.

Волнуются жена и дети. Впятером
 Ждём час и два. Ну, слава Богу,
 Ошибка: не пришли! И он, дыша теплом,
 В себя приходит понемногу

И улыбается: «Начальника признать
 Легко, а бурки – признак первый».
 А Катя: «Коленька, могу тебя понять,
 В вагоне разыгрались нервы».

Я знаю, что собрат зверей, растений, птиц,
 Боялся он до дней конечных
 Волков-опричников, волков-самоубийц,
 Волчиных мастеров заплечных...

(Из поэмы «Вячеславу. Жизнь Переделкинская»)

В этом добросовестном изложении есть неточность: в Караганде Заболоцкий был уже не лагерником, а полусвободным. И ещё: боялся ли он «до дней конечных»?.. Совершенно очевидно: до 1956 года, до XX съезда партии, поэт весьма опасался угодить в *повторники* – то есть снова стать эзком. Эта угроза была вполне реальной. Недаром, принимая в Переделкино старого друга И. С. Сусанина, Заболоцкий условился с ним больше не встречаться: зачем *дразнить гусей*? Ведь за обоими наверняка следят. А вот как зададутся важным вопросом: о чём это там шушукуются два бывших врага народа, что замышляют? Да что товарищ по лагерю!.. даже с родным братом Алексеем не захотел личной встречи. Помогать помогал младшему брату, попавшему к немцам в плен, а потом, уже на родине, отмотавшему за это десять лет лагерей, – а принимать у себя дома в Переделкино отказался. Бережёного – Бог-то поберёт – но братья-то ведь больше так и не увиделись...

Есть свидетельства, что приступы даже не страха – но ужаса – порой охватывали Заболоцкого помимо воли и самобладания. Так, Наталья Роскина вспоминает, как ужаснулся поэт, когда она в декабре 1956 года в Доме творчества при посторонних раздражённо ответила одной даме: «Я человек не простой и не советский». По этому поводу Заболоцкий закатил ей целую сцену: так-де выражаться ни в коем случае нельзя. Роскина уточняет: она вовсе не считала Николая Алексеевича мелким трусом: «Напротив, я думаю, что весь кошмар нашей жизни заключается не в том, что бояться трусы, а в том, что бояться храбрые».

А Николай Леонидович Степанов, много позже, рассказывал писателю Михаилу Синельникову про одно признание Заболоцкого, касаемо его дальневосточного лагеря: в зоне, под окном конторы, где он работал, всегда стоял дежурный гроб, в нём часто хоронили кого-нибудь из заключённых, «(…) чьё-нибудь скрюченное, истощённое тело», и гроб постоянно возвращался на своё место. «И Николаю Алексеевичу этот гроб снился»...

Заболоцкий, как оказалось, не ошибался: за ним, действительно, следили. Об этом чуть позже, а пока – про случай, произошедший в старинном украинском городке Богуславе, где Заболоцкие всей семьёй отдохали летом 1951 года по приглашению Миколы Бажана.

«Неожиданно в середине августа, – пишет Н. Н. Заболоцкий, – в Богуслав пришла телеграмма с известием о том, что в московскую квартиру доставлена повестка, предписывавшая Заболоцкому срочно явиться в милицию. Что было делать? Чувствовал Николай Алексеевич, что снова сгущаются тучи над его головой, и

приготовился к самому худшему. Решил ехать один. Оставил семью в Богуславе и срочно вылетел в Москву, благо Бажан был в Киеве и помог достать билет на ближайший рейс.

В московском отделении милиции у Заболоцкого отобрали паспорт и, как человеку, имеющему судимость по 58-й статье, предложили в десятидневный срок покинуть город. Неужели снова изгнание? Нетрудно представить, что чувствовал в эти дни умудрённый жизнью поэт, слишком хорошо знавший, какие последствия сулит ему высылка из столицы. Телеграммой-молнией вызвал он жену, чтобы вместе срочно готовиться к отъезду.

Но куда же ехать? Николай Алексеевич написал письмо Э. Г. Казакевичу, который жил тогда в деревне Глубоково на востоке Владимирской области, и просил срочно сообщить, нельзя ли приехать к нему пожить некоторое время.

Эммануил Григорьевич сразу же догадался о причине просьбы и тут же ответил приглашением приехать в их деревенский домик. Сыну Николай Алексеевич велел подать заявку на место в студенческом общежитии, опасаясь, что после его высылки из Москвы квартиру отберут.

Семья готовилась к отъезду, а влиятельные писатели начали хлопоты, надеясь добиться хотя бы отсрочки репрессивного предписания властей. По настоянию В. В. Гольцева Н. С. Тихонов связался с генеральным секретарём Союза писателей А. А. Фадеевым и попросил его вмешаться в ход событий».

28 июля 1951 года Фадеев и Тихонов обратились с письмом к заместителю министра государственной безопасности С. И. Огольцову с просьбой отменить решение московской милиции о высылке Заболоцкого из Москвы, дав поэту наилучшую характеристику.

25 августа А. А. Фадеев написал большое письмо на имя министра Госбезопасности СССР, выдвинув от имени секретариата Союза советских писателей ходатайство о снятии судимости с Н. А. Заболоцкого. К письму были приложены документы: справки из лагерей, характеристика главы Союза писателей Грузии на творческую и общественную работу поэта, справка о его литературном труде в последние пять лет и даже «книги с произведениями Заболоцкого в количестве 14-ти экз.».

Фадеев высказал твёрдое убеждение в том, что Заболоцкий заслужил снятия судимости:

«Учитывая, что Н. А. Заболоцкий – поэт высокой квалификации и продолжает расти, Секретариат Союза советских писателей СССР считает возможным и необходимым снять с него судимость, чтобы и это последнее обстоятельство уже не мешало Н. А. Заболоцкому войти в строй советской поэзии в качестве её равноправного участника и создателя».

Огольцов передал документ на рассмотрение Особого совещания. Началась проверка. Была вновь допрошена Н. М. Тагер, когда-то давшая показания на Заболоцкого. Теперь, через десять лет, она отрицала свои обвинения в адрес поэта.

Сохранился ещё один документ, по-видимому, обязательный в таких случаях:

«Совершенно секретно

СПРАВКА на ЗАБОЛОЦКОГО Николая Алексеевича

На ЗАБОЛОЦКОГО Н. А. после его освобождения из лагерей компрометирующих материалов не получено, агентурно характеризуется положительно.

Начальник 1 отдела 5 управления МГБ СССР

Полковник *Агаянц*

21 сентября 1951 г.».

Тогда же заместитель министра Госбезопасности СССР генерал-полковник Гоглидзе утвердил Заключение о снятии судимости, с которым согласились целый ряд начальников управлений МГБ.

И, наконец, постановлением Особого совещания при министре ГБ СССР от 6 октября 1951 года судимость с Николая Алексеевича Заболоцкого была снята.

В ноябре поэт получил из органов официальную справку об этом. Он тут же написал письмо А. А. Фадееву:

«Дорогой Александр Александрович! Сообщаю Вам, что судимость с меня снята и справка об этом мне выдана. Ещё раз сердечно Вас благодарю за возбуждение ходатайства по этому делу. В моей жизни – это большое и важное событие. Уважающий Вас Н. Заболоцкий».

* * *

Снятие судимости – это ещё не реабилитация. До реабилитации Заболоцкий так и не дожил. Лишь 24 апреля 1963 года по заявлению вдовы он был посмертно реабилитирован.

А тогда, в год снятия судимости, и позже, до конца жизни, близкие поэта знали: у отца всё готово, всё под рукой на самый непредвиденный случай: поясные ремни, валенки, тяжёлые сапоги и надёжный бушлат, а также «прекрасная рихтеровская чертёжная готовальня». Мало ли что?..

КУПЕЛЬ ДРЕВНЕРУССКОГО ЭПОСА

Судя по выбору книг для домашней библиотеки на Беговой, Заболоцкого основательно занимал русский и мировой народный эпос. Впрочем, этот интерес у него возник ещё в тридцатые годы, когда он взялся за переложение «Слова о полку Игореве». А шутивное письмо к Шварцам (декабрь 1947 года), стилизованное под русскую былинку, говорит о том, что он уже плотно «вошёл» в дух древних сказителей. Как истинный художник слова, Заболоцкий осваивал всё необозримое пространство родного языка, – хотя и овладевал им весьма своеобразно, проделав в собственном творчестве как бы обратный путь – от авангарда до истоков, от изощрённой стилистической сложности «Столбцов» до предельно скупых и точных красок поздних стихов и даже простонародного слога. (Впрочем, заметим в скобках, и авангард его – хлебниковского закваса – изначально был фольклорным по существу.)

Когда в феврале 1950 года знаток древнерусской словесности Дмитрий Сергеевич Лихачёв обратился к нему с предложением подготовить перевод «Слова о полку Игореве» для «Школьной библиотеки» и для серии «Литературные памятники», поэт с радостью согласился.

«Ваш перевод я ценю как современное поэтическое восприятие поэзии прошлого, – писал Лихачёв. – Поэтический перевод в данном случае и может быть только таким: переводом поэтической системы прошлого в поэтическую систему настоящего».

Ознакомившись с замечаниями Лихачёва, Заболоцкий убедился в «просвещённом понимании» учёного тех сугубо поэтических задач, что стояли перед ним как переводчиком. Он сделал исправления там, где посчитал нужным, и попросил филолога сообщить его соображения по этому поводу. «На некоторые отдельные строфы перевода у меня имеется более сотни вариантов, – поведал Заболоцкий Лихачёву, – но всё же перевод, видимо, не созрел ещё окончательно даже в пределах того замысла, который я имел в виду».

Любопытное признание, показывающее, насколько тщательно работал он над переводом.

Несколько замечаний сделала ему и филолог В. П. Андрианова-Перетц, участвовавшая в подготовке «Слова» к изданию, и Заболоцкий столь же внимательно их учёл.

Д. С. Лихачёв посоветовал Николаю Алексеевичу обратить внимание на другие памятники древнерусской литературы, – и вскоре Заболоцкий ответил ему: «...» из всего перечисленного Вами я прилично знаю только “Задонщину”, но цену её лишь как подсобный материал для изучения “Слова”. Впрочем, о возможных будущих работах, так же как и о “Слове”, я был бы рад побеседовать с Вами при встрече. Когда надумаете быть в Москве, прошу Вас навестить меня, предварительно позвонив по телефону <...>. У меня, как и у всякого дилетанта, интересующегося “Словом”, есть всякие касающиеся его доморощенные теории, которые мы с Вами могли бы обсудить за бутылкой цинандали».

Увы, эта встреча не состоялась. Однако заочный диалог продолжился большой теоретической статьёй Заболоцкого «К вопросу о ритмической структуре “Слова о полку Игореве”», которую он написал в 1951 году. В ней поэт высказал свои представления о великом предшественнике безымянного автора «Слова» – Бояне, о «чудодейственной силе его таланта», об отношении создателя «Слова» к своему учителю.

Эта статья свидетельствует о том, что Заболоцкий глубоко проникся духом древнерусского эпоса и тонко понимал его поэтическую и песенную основу:

«И “Слово о полку Игореве”, и русские былины родились в одной купели древнерусского эпического песнотворчества. “Слово”, вероятно, долгое время только пелось и лишь впоследствии было “словесно” записано в память потомству. Былины эмигрировали вместе с крестьянством на север, передавались из уст в уста, видоизменялись, но дошли до нас в живом исполнении крестьян-сказителей.

Потому ли, что былины Киевского цикла порождены иной социальной средой, потому ли, что на них лежит сильный отпечаток позднейшего бытования, – они представляются нам продуктом культуры не столь богатой, как культура, породившая “Слово”. И тем не менее не случайны те элементы сходства, которые были отмечены исследователями в “Слове” и в былинах. Эти элементы сходства заключаются не только в близости речевых оборотов, интонационных рисунков, не только в сходстве эпитетов, сравнений и пр., – но также и в сходстве приёмов ритмической организации материала: и там и тут стихи образуются с помощью музыки. И “Слово”, и былины – произведения музыкально-вокальные, а не литературные. <...>

Однако от этих же былин “Слово” отличается целым рядом характерных особенностей. В то время как в трактовке киевской былины историческое событие принимает отвлечённый и даже сказочный характер, “Слово” рассказывает об историческом событии “по былинам сего времени”, т. е. исторически правоподобно, конкретно. Характеры былинных героев суммарно обобщены, характеры героев “Слова” индивидуализированы. Былина воспитывает своего слушателя в общем направлении присущей ей идеологии, “Слово” же является средством актуального политического воздействия в конкретной исторической обстановке. <...> Былина – продукт творчества коллективного, “Слово” – произведение одного автора. Все эти соображения (а также ряд других) не дают возможности считать “Слово” произведением фольклора. Но, принимая во внимание те черты сходства, о которых речь была выше, следует предполагать, что и ранняя былина, и “Слово” восходят к некоторым общим истокам древнерусского песнотворчества».

Заболоцкий вынашивал заветную мысль – составить Свод русских былин. Огромная по замыслу работа!.. У себя дома на Беговой он собрал основные издания былин: начитывался, с карандашом в руках изучал статьи учёных-фольклористов. Для пробы сам обработал былинный сюжет об исцелении Ильи Муромца. Вот его окончание:

Тут взнуздал коня Илья Муромец,
 Сам облатился, обкольчужился,
 Взял он в руки булатную палицу,
 Опясался дорогим мечом.
 То не дуб сырой к земле клонится,
 К земле клонится, расстилается –
 Расстилается сын перед батюшкой,
 Просит отчего благословения:
 «Уж ты гой еси, родный батюшка,
 Государыня родная матушка,
 Отпустите меня в стольный Киев-град,
 Послужить Руси верой-правдою,
 Постоять в бою за крестьянский люд!»

28 марта 1951 года составил продуманную докладную записку на имя главы Союза писателей А. А. Фадеева. «Многие культурные народы» уже имеет систематические своды своих эпосов, говорилось в ней. Есть, к примеру, Песни Оссиана, «получившие всеобщее признание», – а ведь «часть научной критики» в своё время скептически отнеслась к составлению такого свода.

«Собиратели русских былин не посчитали себя вправе систематизировать свои записи и печатали их в том виде, в каком они были сделаны со слов народных сказителей, – замечает Заболоцкий. – Для наших собирателей было характерно высокое чувство ответственности перед наукой. Гильфердинг, например, писал: “Я считаю эпические песни, сохранившиеся в народе нашем, настолько ценными для науки, что они заслуживают все издания”. Но вместе с тем все сделанные им записи былин Гильфердинг считал “сырым материалом”, он считал, что для “полного, окончательного издания” былин ещё не наступило время; он мечтал об “очищенном издании” избранных былин.

Все наши собиратели, начиная с Кирши Данилова и кончая советскими собирателями, проделали огромную работу накопления сырого материала. <...>

Всеобщий интерес к народному эпосу, проявленный русским обществом прошлого века, а также нужды школьного преподавания настоятельно потребовали удобочитаемого свода былин. На протяжении столетия было сделано несколько попыток выполнить эту работу. Среди этих попыток следует особо отметить сводную работу Л. Н. Толстого о четырёх старших богатырях, Острогорского – об Илье Муромце, книгу Авенариуса для школьного и домашнего чтения <...> и др. Однако большинство этих книг выполнено авторами без достаточной научной подготовки и при весьма невысоких поэтических данных.

В наше время интенсивного роста народного самосознания и новой международной роли русского языка *дело организации народного эпоса в единое стройное целое следовало бы считать делом общенародного и государственного значения...* (курсив мой. – В. М.)

Далее Заболоцкий определил принципы и методологию составления подобного свода, убедительно обосновав, что этим делом должны заниматься «поэты-составители».

Однако свою докладную записку Фадееву он так и не отправил.

Кардинально переделав её и заострив, в следующем, 1952, году Заболоцкий написал статью «О необходимости обработки русских былин». Основная мысль статьи в том, что народ, владея богатейшим фольклорным материалом, по существу не знает своих древних былин. Это странное положение, подчёркивает Заболоцкий, хорошо определил профессор Н. В. Водовозов: «Получается совершенно недопустимое положение, когда даже высококультурный Читатель в нашей стране отлично знающий “Илиаду”, “Одиссею”, “Песнь о Роланде”, “Калевалу” и другие народные эпосы, почти не знает великолепного эпоса русского народа».

Заболоцкий разобрал суть деятельности Водовозова по своду былин и пришёл к выводу, что эта работа выполнена робко, половинчато и методологически неправильно:

«Мне кажется, работу над былинами должен выполнить художник слова, поэт, имеющий достаточную научную подготовку и хорошо знающий язык своего народа. В основу его работы должны лечь следующие соображения:

1. Наши былины не представляют собой единого композиционно цельного произведения, хотя многие из них сюжетно связаны между собой. С этим обстоятельством надо считаться. На основе былин можно написать самостоятельное единое произведение, но превратить народные былины в целостный единый свод нельзя. Былины должны оставаться былинами».

Он предложил обрабатывать каждую былинку, отбирая и сличая все подобные сюжетные записи; очищать былины от диалектизмов, сохраняя их первозданную народность; сделать стих тоническим, легко читаемым, – и здесь, разумеется, потребуется «смелая и сложная работа художника-поэта»:

«Воссозданные таким образом былины могут стать действительным достоянием народа, но уже не как произведение вокального творчества, а как произведение книжной общенародной литературы. Особое значение они будут иметь для школ и для воспитания советской молодёжи».

Статья явно предназначалась для печати, но не была опубликована и увидела свет лишь спустя тридцать лет в собрании сочинений поэта.

Д. С. Лихачёв, узнав о намерении Заболоцкого обработать былины для детей, поддержал идею:

«От всей души желаю Вам успеха в этом деле. Я искренне люблю былины, народные лирические песни и плачи. В них необыкновенные красоты, но красоты эти часто перемежаются с длиннотами, с бледными местами. Здесь надо выбирать, отбрасывать лишнее, иногда соединять из разных мест. <...> Итак, желаю Вам полного успеха в вашем большом, патриотическом замысле. Пусть “Ваши былины” будут самыми русскими, самыми народными, сохраняют в себе всю свежесть полей и пашен Руси, пусть их любят дети и взрослые. Я уверен, что Вам удастся эта книга».

Переводчик Лев Озеров, встретившись однажды с Заболоцким в начале 1950-х годов, впервые услышал от поэта не то чтобы жалобу, но вздох касаясь самочувствия:

«– Раньше с утра до вечера мог сидеть над строфой. Сейчас быстро устаю, не могу долго сидеть. – И после паузы: – Ведь я сверхсрочник. Врачи давно меня списали. Жаль, у меня планов много...

Одним из таких планов он поделился со мной:

– Хочу дать свод былин как некую героическую песнь, слитную и связную. <...> У нас нет ещё своего большого эпоса, а он был, как у многих народов, был, но не сохранился целиком. У других – “Илиада”, “Нибелунги”, “Калевала”. А у нас что?.. Обломки храма. Надо, надо восстановить весь храм».

Несколько лет Заболоцкого не оставляла эта идея. Весной 1953 года в письме к Томашевским он сообщал, что осенью собирается взяться за былины. Но приступить к обработке былин ему так и не пришлось. Его заявка в Детгиз получила отрицательные рецензии фольклористов и практически была отклонена. А без договора браться за многотрудное дело он не мог.

Как ни хотел *послужить Руси верой-правдою, постоять за крестьянский люд* – не довелось.

«ВЕЧНО СВЕТИТ ЛИШЬ СЕРДЦЕ ПОЭТА...»

Внешняя жизнь Заболоцкого в начале 1950-х – накатанная колея. Кроме происшествия с паспортным режимом, ничего особенного: постоянная работа над переводами, поездки в Грузию, Крым, деловые встречи в Москве, общение с друзьями.

Жена, Екатерина Васильевна, вспоминала, как осенью 1950 года Симон Чиковани свозил их в Кахетию. Остановка на Гомборском перевале, прогулка. «По ярко-синему небу ползли лиловые тучи, серые стволы платанов поднимали к небу лимонно-жёлтую листву, а внизу переплетался кустарник, пылая всеми оттенками красного и жёлтого. Шли мы не больше получаса, наверное, меньше. Николая Алексеевича не тяготила, как обычно, эта прогулка. Лицо его светилось чистотой, выражало восторг, и он без обычной замкнутости делился своими впечатлениями».

Да и сам поэт черкнул после Грузии несколько строк Миколу Бажану: «Съездили мы в Кахетию – побывали в Кварели, Гурджаани, осмотрели Гречи, где я чуть не помер от страха, карабкаясь на башню и особенно спускаясь вниз».

Гомборский лес он припомнил через несколько лет, когда переживал очень не простое для себя время и отыскивал в душе опоры:

Здесь осень сумела такие пассажи
Наляпать из охры, огня и белил,
Что дуб бушевал, как Рембрант в Эрмитаже,
А клён, как Мурильо, на крыльях парил.

Я лёг на поляне, украшенной дубом,
Я весь растворился в пыланье огня.
Подобно бесчисленным арфам и трубам,
Кусты расступились и скрыли меня.

Я сделался нервной системой растений,
Я стал размышлением каменных скал
И опыт осенних моих наблюдений
Отдать человечеству вновь пожелал. <...>

В марте 1951 года он снова в Грузии – с П. Г. Антокольским ведёт всесоюзный семинар молодых поэтов. Антокольский вспоминал: «Он был критиком благожелательным, по-своему строгим, но не придиричивым. Он легко схватывал главное – не в молодом поэте как таковом, не в его личности, а в самих стихах, в их тексте, в смысловой нагрузке, а не в формальных, внешних особенностях. Ум у него был аналитический, и в то же время склонный к обобщению чужого опыта (или неопытности – всё равно)».

Молодые семинаристы в большинстве не знали Заболоцкого-поэта: «Столбцы» недоступны, публикации редки. Однако слушали его внимательно, чувствуя,

насколько важны его суждения. Антокольский признавался: в этой шумной, непринуждённой и, «если угодно, беззастенчивой» обстановке Заболоцкий, семью годами младше его, казался самым старшим и наиболее умудрённым в тайнах искусства.

«В дни семинара несколько раз нам пришлось сидеть вдвоём за ресторанным столиком. И это были случаи, когда Николая Алексеевича покидала его скованная сдержанность. Он любил хорошо поесть, любил ресторанный быт, его обрядность ожидание заказа, явление официанта. Любил разглядывать посетителей; правда, он молчал, не делился своими наблюдениями, но явно был доволен, где-то регистрировал про себя – благодушно и беспристрастно».

Поэт ещё не достиг полувека, а его здоровье, подорванное лагерями, начало сдавать. На рубеже 1951–1952 годов он оказался в глазной клинике и долго (как всегда, аккуратно) лечился. Начались проблемы с сердцем...

Закончив книгу Важа Пшавела, над которой он увлечённо работал полтора года, Заболоцкий принялся за Давида Гурамишвили. В августе 1952 года Грузия отмечала 160-летие со дня смерти Гурамишвили, и Заболоцкий слетал на несколько дней в Тбилиси. По возвращении уехал с женой на съёмную дачу в подмосковную Апрелевку, но, как пишет сын Никита, прожил там недолго. «На даче окотилась привезённая из города трёхцветная кошка Фроська, котятка пищали и мешали спать. Николай Алексеевич рассердился и уехал в город. В городской квартире жить было трудно из-за жары, он взял путёвку и отправился в Дом творчества в Дубулты на Рижском взморье».

Прежде посторонний шум ему не досаждал: поэт умел так погрузиться в работу, что не замечал ничего. Инженер-геолог Б. Петрушевский, новый сосед Заболоцких по лестничной площадке, запомнил случай, когда обычно вежливый, учтивый и сдержанный Заболоцкий вдруг вышел из себя: «На площадке перед нашим домом весьма великовозрастные школьники играли в футбол, адресуя мяч больше в наши садики, чем друг другу. Просьбы перестать не имели, конечно, успеха. И вот Заболоцкий выскочил из подъезда, почти побежал к играющим и начал кричать и грозить». Конечно, это было исключение из правила...

О внутренней жизни Заболоцкого начала пятидесятых известно мало, – судить о ней можно лишь по стихам и редким свидетельствам близких к нему людей.

Стихи его, после трёхлетнего молчания, изменились по тону: в них нет ни романтического напора, ни возвышенных слов, поубавилась жизненная энергия, – они стали проще, задумчивее, грустнее.

В этом мире, где наша особа
Выполняет неясную роль,
Мы с тобою состаримся оба,
Как состарился в сказке король.

Догорает, светясь терпеливо,
Наша жизнь в заповедном краю,
И встречаем мы здесь молчаливо
Незбежную участь свою.

Но когда серебристые пряди
Над твоим засверкают виском,
Разорву пополам я тетради
И с последним расстанусь стихом.

Пусть душа, словно озеро, плещет
 У порога подземных ворот
 И багровые листья трепещут,
 Не касаясь поверхности вод.
 («Старая сказка», 1952)

В последней строфе – предчувствие смерти, – и даже сам миг её словно бы легко набросан трепетом осенних листьев, невесомо замерших в воздухе...

Перед земным концом слышнее совесть – *со-весть* – врождённый голос свыше:

Жизнь растений теперь затаилась
 В этих странных обрубках ветвей,
 Ну, а что же с тобой приключилось,
 Что с душой приключилось твоей?

Как посмел ты красавицу эту,
 Драгоценную душу твою,
Отпустить, чтоб скиталась по свету,
Чтоб погибла в далёком краю?

Пусть непрочны домашние стены,
 Пусть дорога уводит во тьму, –
Нет на свете печальней измены,
Чем измена себе самому.
 («Облетают последние маки», 1952)

К кому он обращался, кого укорял?.. Думал ли и о себе?..

Вершины той лирической волны осени 1952 года – стихотворения «Воспоминание» и «Прощание с друзьями»: думы о гибельном лагерном прошлом и память о друзьях молодости – поэтах.

Нет сведений о том, с чем из поздних стихов своих погибших товарищей удалось познакомиться Заболоцкому – и удалось ли вообще, но очевидно – он был уверен: и Хармс, и Введенский, и Олейников – остались самими собой, не изменили себе. А вот сам он изменился – по крайней мере, в поэтике. Было ли это *изменой себе самому*? Никому не ответить на этот вопрос, – и, похоже, он и сам не знал ясного и твёрдого ответа. Но тоска по дерзкой молодости, когда был найден ярко выраженный собственный стиль, всё же, кажется, присутствует в последних строках стихотворения. Или это недовольство собой за какое-то соглашательство с действительностью, обернувшееся ущербом для творчества?..

В ту пору у его товарищей начались полувековые юбилеи, и словно бы для передышки от сомнений и тяжёлых дум поэт насочинял кучу шуточных стишков. В Каверине он добродушно высмеивает писательскую дотошность («Пустьячок, и тот опишет/ Сбоку, в профиль и в анфас») и добродетель вино-не-пития, органично сочетаемую с питием лекарств («Где ты, девка Аграфена? / Чтобы справить юбилей, / Хоть бы раз без миграфена / Нам шампанского налей!»). А уж Степанову досталось по сверхполной программе!.. Тут и «Похвальное слово о Колином телосложении» («Наконец, в середине чрева, / Если скинешь ты тулуп, / Обнаружить может дева / Колоссально мощный пуп»), и целая серия коротких басен: «Невоздержанный едок», «Коля и муравей» и пр. – явно связанных с одним из главных предметов ис-

следовательских работ Николая Леонидовича – великим баснописцем Крыловым. Забавы и предмета ради Заболоцкий слегка воспроизводил старинный басенный стиль:

Однажды Колю блошка покусала.
 – Ахти, проклятая! – сказал он. – Вижу я,
 По возрасту ты мне годишься в сыновья.
 Однако ж уважать не думаешь нимало.
 – Неправда, – блошенька в ответ, –
 Тебя я слишком уважаю,
 А ежели и обижаю,
 То лишь затем, что пищи лучшей нет.
 (*«Коля и блоха»*)

Или:

Прелестна курочка, попавши Коле в щи,
 Сказала из горшка ему: – Тащи,
 Тащи меня за крылышко, философ,
 Затем, что курица питательна для россов.
 (*«Догадливая курица»*)

Но вот прошли юбилеи друзей – и на свои собственные полвека Заболоцкий пишет горькое, странное, мистическое стихотворение – «Сон» (1953).

В этом же году создан цикл восьмистиший «Весна в Мисхоре». В нём дышит недавняя история, и весь цикл так или иначе связан с переломной вехой в жизни страны – кончиной И. В. Сталина. Первое стихотворение – про *кривое деревце Иуды*: известно, Сталин, почти закончив духовную семинарию, вместо служения Богу принялся служить революции. Что будет в стране после его смерти?

Весна блуждает где-то рядом,
 А из долин уже глядят
 Цветы, напитанные ядом
 Коварства, горя и утрат.
 (*«Иудино дерево»*)

На смерть вождя Заболоцкий не откликнулся ни строкой, хотя официальная пресса требовала стихов от поэтов, в том числе и от него. Перевёл лишь одно стихотворение – Миколы Бажана, «приличное» (впрочем, пока оно проходило, что-то сдвинулось в политике, и стихотворение не напечатали). А от перевода посмертных стихов И. Нонешвили отказался: слишком льстиво и угодливо.

Но вернёмся к циклу «Весна в Мисхоре». Во втором восьмистишии «Птичьих песен» – хвала свободному творчеству:

«...» Величайшие наши рапсоды
 Происходят из общества птиц.
 Пусть не слушает их современник,
 Путешествуя в этом краю, –
 Им не нужно ни славы, ни денег
 За бессмертную песню свою.

И, наконец, четвёртое стихотворение – уже за гранью общественных событий – о вечной жизни Земли и о приближающемся конце земной человеческой жизни:

Посмотри, как весною в Мисхоре,
Где серебряный пенится вал,
Непрерывно работает море,
Разрушая окраины скал.
*Час настанет, и в сердце поэта,
Разрушая последние сны,
Вместо жизни останется эта
Роковая работа волны.*

Лидия Борисовна Либединская вспоминает, как в середине марта 1953 года (то есть через неделю-полторы после смерти Сталина) они с мужем приехали в Мисхор и поселились в санатории «Сосновая роща». А вскоре туда же прибыла чета Заболоцких.

«Ярко светило солнце, деревья одевались в белые и розовые пенистые одежды, билось о берега по-весеннему синее море. Природа невольно вовлекала нас в свой каждодневный праздник. Мы много ездили по Крыму на машине. Поднимались на Ай-Петри, гуляли по узким улочкам Гурзуфа и Алупки, бродили по тенистым аллеям Никитского сада. Заболоцкий охотно принимал участие в прогулках и поездках. Но вдруг среди самого оживлённого и весёлого разговора становился серьёзен и взволнованно говорил о том, что тогда волновало всех, о том, что началась новая страница истории России, а следовательно, и советской литературы.

– Я уверен, – сказал он однажды, – что у каждого настоящего поэта лежат в столе стихи, написанные за много лет. Теперь их можно будет опубликовать, и тогда станет ясно, что наша поэзия всегда была богата и разнообразна!»

Разумеется, он говорил и о себе, о своих стихах и поэмах – самых лучших, – которым столько лет не было ходу.

Как-то Либединская заметила, что поэт сам не свой: мрачен и раздражён. И так – несколько дней подряд. Они с мужем забеспокоились, стали расспрашивать Екатерину Васильевну. И были поражены, когда та ответила, что Николай Алексеевич хочет писать стихи, но не позволяет себе это делать. Однажды женщина набралась храбрости и напрямую спросила Заболоцкого, правда ли это?

«– Лидия Борисовна, – сказал он вежливо (даже слишком вежливо!) и немного назидательно, – стихи надо писать, когда не можешь их не написать. Тогда читатель не сможет их не прочитать. А если писать обо всём, <...> то получатся стихи вроде тех, что я на ходу сочиняю во время наших поездок», – и он прочёл пару смешных миниатюр.

«Я пыталась возразить: под этими строчками не отказался бы подписаться Козьма Прутков.

– Нет, нет... – Николай Алексеевич поморщился и досадливо отмахнулся. – Стихи писать легко, поэтом быть трудно».

Мужество художника – в ответственности: за свой дар он отвечает по самому высшему счёту. Этим настроением пронизаны почти все стихи той поры. И Заболоцкий вдруг словно бы даёт читателю ключ к своему творческому характеру, возмужавшему на родной земле и обязанному ей своей силой:

*Я воспитан природой суровой,
Мне довольно увидеть у ног*

*Одуванчика шарик пуховый,
Подорожника твёрдый клинок.*

*Чем обычной простое растение,
Тем живее волнует меня
Первых листьев его появление
На рассвете весеннего дня.*

В государстве ромашек, у края,
Где ручей, задыхаясь, поёт,
Пролежал бы всю ночь до утра я,
Запрокинув лицо в небосвод.

Жизнь потоком светящейся пыли
Всё текла бы, текла сквозь листья,
И туманные звёзды светили,
Заливая лучами кусты.

И, внимая весеннему шуму,
Посреди очарованных трав,
Всё лежал бы и думал я думу
Беспредельных полей и дубрав.
1953

И вновь – про *измену себе самому*: стихотворение «Неудачник» (1953). Оно о тоскующем человеке, который когда-то повстречался с настоящим в жизни, но отвернулся от него.

Ты бы вспомнил, как в ночи походные
Жизнь твоя, загораясь в борьбе,
Руки девичьи, крылья холодные,
Положила на плечи тебе. <...>

Любовь ли это была или *муза*?.. Но человек, по трезвому и тщательному размышлению, предпочёл свою наезженную колею, свой суетливый и глухой путь.

Поистратил ты разум недюжинный
Для каких-то бессмысленных дел.
Образ той, что сияла жемчужиной,
Потускнел, побледнел, отлетел.

Вот теперь и ходи и рассчитывай,
Сумасшедшие мысли тая,
Да смотри, как под тенью раковой
Усмехается старость твоя.

Не дорогой ты шёл, а обочиной,
Не нашёл ты пути своего,
Осторожный, всю жизнь озабоченный,
Неизвестно во имя чего!

Рядом и другое стихотворение – «Ночное гулянье» (1953). Оно вроде бы откровенно назидательно и весьма далеко от художественного совершенства. Заболоцкий в нём противопоставляет свету искусственному, показательной игре: пиротехническим ухищрениям, «фантастическим выстрелам ночи», – свет истинный:

Улетит и погаснет ракета,
Потускнеют огней вороха...
Вечно светит лишь сердце поэта
В целомудренной бездне стиха.

Что и говорить – формула. Прекрасная, чистая, вечная!

Кому-то она может показаться чересчур *высокопарной*. Да, Заболоцкий тут идёт, словно по канату, но он доверяет читателю. Нужно отдать должное его простодушной прямоте: в её основе некрасовская полнота чувства: *я не люблю иронию твоей...* И речь ведь о самом для него святом – о поэзии.

Глава двадцать первая ВОИН В ПОЛЕ

ГОЛОС ИВОЛГИ

Целомудренная бездна стиха – та же целомудренно бедная заутреня, которой лесная иволга встретила Заболоцкого после немоты неволи.

Иволга и есть его поэзия, от которой он, бывало, зарекался, как от беды, и отгораживался, – но она была его единственным настоящим счастьем и спасением, и не оставила его.

Послевоенное стихотворение «В этой роще берёзовой» (первоначально – «Иволга») – пожалуй, самое открытое, самое обнажённое его стихотворение о своей душе и судьбе.

Спой мне, иволга, *песню пустынную,*
Песню жизни моей.

Недаром чуть раньше, на Алтае, ненароком, на пороге избушки, в предчувствии возвращения к поэзии, и сам он запел – может быть, в единственный раз по-настоящему серьёзно – самую пустынную из всех земных песен: «Выхожу один я на дорогу...».

Но ведь в жизни *солдаты мы...* –

признаётся, словно бы вспоминает, он в стихах про иволгу.

Войны – прошедшие, будущие... взрывы – обычные и чуть ли не ядерные... руины смерти...

Молчаливая странница,
Ты меня *провожаешь на бой...*

Он знает: солдату, воину – суждено погибнуть в бою. Но и по смерти *в сердце разорванном*

...голос твой запоёт.

Уверен: поэзия и тогда не оставит его.

Людям, выдавшим его в жизни, Николай Алексеевич Заболоцкий казался похожим то ли на бухгалтера, то ли на другого конторского служащего. Многие думали: такая внешность – обманка, защитная маска. Лишь самые внимательные понимали: да нет тут никакой личины, всё естественно. Но взгляды в ленинградскую фотографию Заболоцкого 1932 года: строгие, чёткие, чеканные черты лица, суровый, углублённый в нечто и в себя взор. И – минуя кучу домашних любительских снимков, с лысинками, парусиновыми костюмами, полосатыми пижамами, – посмотрим на московский фотопортрет 1958 года, на котором поэт, в светлом костюме, с гордой, полной достоинства осанкой, сидит в кресле: те же, как в молодости, чеканные черты, тот же твёрдый, сильный, серьёзный взгляд. Только выражение лица другое: на молодом снимке в глазах скрытый вопрос: что там в будущем? – а четверть века спустя виден уверенный ответ: игра сыграна, дело сделано, и сам он в полной силе ума и дарования.

Первое впечатление от Заболоцкого обмануло почти всех – и понятно почему. Говоря простодушным афоризмом Леонида Ильича Брежнева, экономика должна быть экономной, культура – культурной, а живопись, само собой, – живописной. Поэт, соответственно, должен быть – поэтичным.

Давид Самойлов пишет в мемуарном очерке (1973):

«По Дубовому залу старого Дома литераторов шёл человек степенный и респектабельный, с большим портфелем. Шёл Павел Иванович Чичиков с аккуратным пробором, с редкими волосами, зачёсанными набок до блеска. Мне сказали, что это Заболоцкий.

Первое впечатление от него было неожиданно – такой он был степенный, респектабельный и аккуратный. Какой-нибудь главбух солидного учреждения, неизвестно почему затесавшийся в ресторан Дома литераторов. Но всё же это был Заболоцкий, и к нему хотелось присмотреться, хотелось отделить от него Павла Ивановича и главбуха, потому что были стихи не главбуха, не Павла Ивановича, и значит, внешность была загадкой, или причудой, или хитростью.

Заболоцкий сидел, поставив на пол рядом с собой громадный портфель, и слушал кого-то из секции переводчиков. И вдруг понималось: ничего сладостного и умилительного в лице. *Черты его правильны и строгие. Поздний римлянин сидел перед нами и был отрешён, отчуждён от всего, что происходит вокруг. Нет, тут не было позы, ничего задуманного, ничего для внешнего эффекта* (курсив мой – В. М.)».

Самойлов чуть неточен в одном, – хотя по духу почти угадано: не «поздний римлянин» – *воин*.

Разве же вся жизнь Заболоцкого не была вечным сражением?

По молодости изрядно поголодал в обеих столицах, чтобы получить образование; и тогда же в творчестве сражался за самобытность, пока не преодолел чужое влияние и не обрёл неповторимый стиль. Зрелым мастером в борьбе с ордой критиков отстаивал своё слово. В лагерях сумел выстоять в смертельной схватке за собственную жизнь. Вспомним тюрьму, физические и моральные пытки во время следствия – какую стойкость он проявил! И победил извергов: никого не выдал, ни на кого не дал «показаний». В долгом заключении до конца бился за справедливость с всемогущей карательной системой, так и не признав своей вины. А по освобождении заново отвоевал своё место в литературе, причём враги-то оставались прежние: критик Тарасенков – главный редактор издательства «Советский писатель», – там шла третья книга стихов; доносчик Лесючевский, позже, – директор того же издательства, куда пришлось нести рукопись четвёртой книги. Каково же

было Заболоцкому прямо или косвенно общаться с этими людьми, что столько крови выпили и чуть не погубили... Или, скажем, Юрий Либединский, бывший рапповец, партиец – он оказался в соседях по Беговой деревне и потом чуть ли не в приятелях. А ведь прежде был противником, клеймил поэзию Заболоцкого, учил его пролетарскому уму-разуму. В пятидесятых годах Либединского *прикрепили* к беспартийному поэту, дабы нёс несознательному автору свет марксизма-ленинизма и истории ВКП(б). Когда Либединский ни с того ни с сего вдруг начинал на людях декламировать наизусть что-нибудь из «Столбцов», Заболоцкий был вне себя, не понимая, что это: телячий восторг или же скрытая провокация на предмет разоблачения затаившегося *врага народа*?

Сам Заболоцкий напрямую никогда не называл себя воином. Оно и так понятно: настоящий поэт – воин духа. Но порой, крайне редко, это прорывалось в стихах – в виде образов, сравнений. Вот стихотворение «Ночь в Пасанаури», где рассказ – о купании в горной реке:

И вышел я на берег, *словно воин,*
Холодный, чистый, сильный и земной...

Наверное, это излучение ощущали и его товарищи. Недаром Александр Гитович, участник войны, в посмертном стихотворении набросал:

Он, может, более всего
Любил своих гостей, –
Не то чтоб жаждал ум его
Особых новостей,

Но мил ему смущённый взгляд
Тех, кто ночной порой
Хоть пьют, а помнят: *он – солдат,*
Ему наутро в бой.
1961

Понятно, что это за бой будет наутро: переводы, переводы... а может, сначала и собственные стихи. Ведь первым в его воинском служении была поэзия.

Вот, пожалуй, чуть ли не единственное признание Заболоцкого о себе самом – человеку и творце, сделанное на закате жизни, в очень трудные для него годы:

ОДИНОКИЙ ДУБ

Дурная почва: слишком узловат
И этот дуб, и нет великолепья
В его ветвях. Какие-то отрпенья
Торчат на нём и глухо шелестят.

Но скрученные намертво суставы
Он так развил, что, кажется, ударь –
И запоёт он колоколом славы,
И из ствола закапает янтарь.

Вглядись в него: он важен и спокоен
Среди своих безжизненных равнин.

Кто говорит, что в поле он не воин?

Он в поле воин, даже и один.

1957

Тут и о творчестве, и о судьбе, и о личном – ведь всё это неразъединимо. Как неразъединима жизнь: что бы в ней ни случилось, она одна. И «Столбцы», и «классические» стихи написаны одним и тем же человеком (кстати, уверенным в том, что характер складывается в первые пять лет жизни). Так что принципиальный вопрос о Заболоцком, поставленный И. Роднянской в статье «Единый текст»: «А ещё и того больше: менялся ли поэт вообще?» – подразумевает вполне определённый ответ. Тем более что Роднянская исходит из совершенно справедливого постулата: «Развёртывание художником своего дара во времени – всегда единый текст».

Между тем мнения толкователей его творчества, как уже и прежде говорилось, сильно расходятся.

Литератор-эмигрант Вячеслав Завалишин вскоре после смерти поэта писал: «Переход Заболоцкого от футуризма к классицизму представляется мне в какой-то мере вынужденным, навязанным поэту извне. И совсем не случайно, что этот переход последовал после злостных выпадов официальной критики».

Это взгляд со стороны, взгляд человека, лично не знакомого с поэтом. Но примерно так же, хотя несравненно глубже и развёрнутее, объясняла себе этот переход хорошо знавшая Заболоцкого в последние его годы Наталия Роскина (впрочем, её размышления на эту тему несколько противоречивы):

«Трудно, на мой взгляд, нанести большее оскорбление Заболоцкому, как упрекнуть его или похвалить его за отказ от поэтических исканий молодости. Именно эти искания, эти годы провозглашения его поэтической личности остались в его памяти лучшими. Именно ими он безгранично дорожил, и, отказываясь судить о “политике”, всячески устранившись от неё, он сознательно строил свой духовный мир на верности и твёрдости своих поэтических идеалов. (...) Как-то он мне сказал, что понял: и в тех классических формах, к которым он стал прибегать в эти годы, можно выразить то, что он стремился раньше выразить в формах резко индивидуальных. Эта идея, видимо, поддерживала его. Помогала ему и его страстная и давняя любовь к классической поэзии. Всё это, как мне кажется, были лишь самоутешения в той беспрецедентной в истории мировой поэзии эпохе, когда партия и правительство диктовали поэту все формы существования, в том числе и поэтические».

Но не преувеличивает ли роль *политики* на художественное творчество такая точка зрения?

Чувствуя это, Вениамин Каверин высказывается о переходе Заболоцкого на новый стиль несколько иначе, однако его мнение половинчато. Согласно Каверину, тема, хоть и навязана «необходимостью», но искусство рождается вопреки «социальному заказу».

Лев Озеров, не сомневаясь, отрубил: «Нет двух Заболоцких, есть мастер в развитии от своего “штурм унд дранг” до своей классики».

Поэт Владимир Корнилов вспоминает, что долго не понимал, как мог Заболоцкий, «последователь Хлебникова», прийти к классическому, «даже несколько архаичному стиху», сближающему его с Боратынским и Тютчевым. Признётся: забывая, что поэт – явление естественное, беспримесное, со своей органической сущностью и пророческой задачей, «больше думал о том, что он живёт *у времени в плену*. Я даже написал в одной статье (которой нынче стыжусь), что в Ленинграде 30-х годов запросто могли заставить писать не только классическим ямбом, но даже гекзаметром; что пастернаковское *Нельзя не впасть к концу, как в ересь, / В*

неслыханную простоту в случае с Заболоцким было ускорено; что восстал из пепла совсем другой Заболоцкий, поэт замечательный, но с перегоревшей душой...»

Потом Корнилов осознал: поэта заставить писать нельзя, душа Заболоцкого во все не перегорела, и он писал всё лучше и лучше. «И если он ушёл от Хлебникова к Тютчеву или даже к Баратынскому, так на то была его воля, а ещё вернее, внутренняя поэтическая сила повернула его в ту сторону. Но, скорее всего, он просто шёл своей дорогой, никуда не сворачивая».

Чрезвычайно интересны мысли Иосифа Бродского о Николае Заболоцком, высказанные в беседе с С. Волковым:

«Я думаю, что поздний Заболоцкий куда более значителен, чем ранний. <...> Вообще Заболоцкий – фигура недооценённая. Это гениальный поэт».

Бродский считал, что «Столбцы» и поэма «Торжество земледелия» – это прекрасно, это интересно, «но если говорить всерьёз, это интересно как этап в развитии поэзии. Этап, а не результат. Этот этап невероятно важен, особенно для пишущих. Когда вы такое прочитываете, то понимаете, как надо работать дальше. <...> И когда я увидел, что сделал поздний Заболоцкий, это потрясло меня куда сильнее, чем “Столбцы”».

Конечно, советская политическая система так или иначе пыталась подмять под себя, дабы использовать в своих целях, каждого самостоятельного поэта. Открытых противников идеологии она просто уничтожала, других «воспитывала» кнутом и пряником – лагерными сроками и различного вида подачками. Сами по себе художественные ценности или, иначе, эстетические достижения не особо интересовали политиков. Будь Николай Заболоцкий слабее духом и телом, он бы неминуемо погиб – как погибли его друзья молодости и другие поэты, известные и неизвестные. Но он выстоял в этом сражении, как тот *одинокий дуб на дурной почве среди своих безжизненных равнин*. Выстоял – пожертвовав многим, очень многим...

Откликаясь на книгу «Огонь, мерцающий в сосуде...» (1995) – книгу Заболоцкого и о Заболоцком, Ирина Роднянская пишет в статье «Единый текст»:

«Перед нами высокая трагедия – греков ли, Шекспира, но именно этого масштаба и роста. Трагедия, в которой герой падает, “побеждённый лишь роком”, как сказано у любимого Заболоцким русского поэта. В этом её катарсис. <...>

Без обиняков обозначу её коллизию: сражение творческой силы с силой зла. А особенность этой коллизии в том, что смысл и цель поступков её героя – не “духовная победа” вообще, не духовное сопротивление в социальном или абстрактно-философском плане, а победа собственно художественная, поэтическая, литературная, если угодно, – победа над насилием, враждебным возвышающей человека творческой игре. <...>

Дар Заболоцкого был так велик, что на руках у него, можно сказать, имелись сплошь козырные карты. Нам, знающим лишь о том, что уцелело на поле сражения, остаётся только догадываться, как огромен он был, этот дар. М. В. Юдина, понимавшая поэта так, как гению свойственно понимать собрата – “когда пред ним гремит и блещет иногo гения полёт”, говорит о “величественной партитуре творчества Заболоцкого”. Действительно, ему изначально дано было потенциальное многозвучие, многоголосие при чёткой очерченности творческих задач. И когда грубая идеологическая сила выбивала из рук очередной козырь, перекрывала очередной регистр звучания, в ход пускалась новая победительная карта, вступал новый полнозвучный регистр. Так – до самой смерти. “Рубрук в Монголии”, предсмертная поэма, созданная столько же дерзкой мускульной силой, сколько просветлённым умом и воображением, свидетельствует против всех, искавших в

позднем Заболоцком следы усталости и творческой капитуляции. Но никогда мы не узнаем, не услышим, не прочтём Заболоцкого, работающего во всю мощь своего Богом дарованного полифонического инструмента. “Я нашёл в себе силу остаться в живых”, – напишет он поразительную фразу в заявлении, адресованном 17 февраля 1944 года Особому совещанию НКВД СССР <...>. “Остался в живых” – и как поэт, как звезда в великом поэтическом созвездии века. Однако – не как равный себе возможному, себе, замысленному богом искусства... быть может... страшно сказать... “вторым Пушкиным”».

И далее:

«Конечно, идея изменения, развития, метаморфозы – сквозная мысль Заболоцкого, и представление о его неизменяемости, стоянии на уровне “Столбцов”, было б ему это позволено, – такое представление в корне ложно. Мемуаристы единодушно отмечают, что в послелагерные годы к лицам, восторгавшимся “Столбцами” и пытавшимся при встрече с поэтом прочитать отсюда что-нибудь наизусть, он относился с подозрением и раздражением. (По этому поводу Слуцкий остроумно заметил: к тем, кто хвалил “Столбцы”, Н. А. относился подозрительно, к тем же, кому они не нравились, – плохо.) Тут нельзя исключить и боязнь провокации – ведь именно стихи, только стихи уже стали причиной всех его бед, не исключена реакция на чудящийся упрёк в “измене себе самому” (измене, которой всё-таки не было). Но, полагаю, есть ещё и третье: ведь обидно, когда хвалят семья, не замечая выросшего из него дерева. <...>

Так где же правда – если говорить о метаморфозах Заболоцкого-поэта: в потребностях внутреннего развития или в творческих, но и приспособительных реакциях на пытку и нажим? Конечно, правда и в том, и в этом. Одно уже никакими ухищрениями не отделить от другого. Каждый наш великий поэт в этом веке – израненный и павший победитель».

СЕРЕДИНА ВЕКА

Пятидесятилетие поэта Николая Заболоцкого страна, разумеется, не отметила никак, *литературная же общественность* – более чем скромно. В начале июня 1953 года в одной из комнат Дома литераторов собралось немного его почитателей. Николай Леонидович Степанов сделал доклад; после этого Заболоцкий читал стихи. Рядовое мероприятие...

Лидия Либединская вспоминала:

«Но зато среди собравшихся – ни одного человека, который пришёл бы сюда из каких-либо иных побуждений, кроме как любви и уважения к юбиляру и его удивительному таланту. <...> Грузинские поэты прислали на самолёте из Тбилиси огромный букет свежих роз. В заключение вечера Николай Алексеевич поблагодарил всех, кто пришёл поздравить его, но в словах его чувствовалась обида. Приехав через несколько дней в Переделкино, он сказал с горечью:

– Почти никто из поэтов не пришёл на мой вечер...»

Не пришёл, по-видимому, и никто из писательских начальников.

Павлу Антокольскому довелось быть на юбилейном застолье в тесной квартире на Беговой. По его словам, всё было «сердечно и многословно, но, по сравнению с грузинскими сборищами, сдержанно и, так сказать, семейно замкнуто, без шумных тостов и прикосновений к “мировым” пространствам».

Сохранились любительские снимки двадцатилетнего сына Никиты с этого домашнего праздника: Николай Алексеевич и Павел Григорьевич, серьёзные, трезвые, в рабочем кабинете на фоне книжного стеллажа; Николай Алексеевич за столом, с

блюдом в руке, угощает гостей (похоже, жареным гусем), а Николай Леонидович Степанов, рядом, уже принялся за гусиную лапку, – всё чинно, степенно...

6 июня Заболоцкий писал Симону Чиковани: «У меня был творческий вечер, связанный с 50-летием, прошёл хорошо, читал свои стихи, и читал много, и они были очень хорошо встречены – правда, народу было немного – человек 40-50».

А месяц спустя почтенный юбиляр, кажется, уже позабыл про свои негромкие торжества. Дочь пристала: напиши хоть пару слов брату – студенту, ему небось скучно на своей сельхозпрактике в сталинградских степях. Николай Алексеевич чуть-чуть оторвался от переводов и набросал на листке письма карикатуру на сына; тут же присочинил экспромт:

Однажды некий агроном
 В штанишки сделал как ком.
 И этот ком, упав на луг,
 Всеобщий сделал там испуг.
 Сказали пастуху коровы:
 – Пастух, мы, верно, нездоровы.
 Увидев эту каку, мы
 Ввели в смятение умы.
 – Дурашки! – им пастух в ответ, –
 Что это кака – спору нет,
 Но кто её здесь обронил?
 Агроном, окончивший Академию имени Тимирязева.

О мыслях Заболоцкого той поры невольно свидетельствует его тогдашняя настольная книга – «Дневник» Эжена Делакруа. Некоторые мысли художника, жившего век назад, Заболоцкий помечал на полях книги, а кое-что даже выписывал. Стало быть, это совпадало с его собственными чувствами и настроениями. Блез Паскаль точно определил: «Во мне, а не в писаниях Монтеня содержится всё, что я в них вычитал». Большею частью это были мысли о природе творчества.

♦ *«Нужно обладать большой смелостью, чтобы решиться быть самим собой; это качество особенно редко встречается в такие эпохи упадка, как наша».*

Давно сказано – а годится на все времена.

♦ *«Вера в себя является наиболее редким даром, а между тем только она способна породить шедевры».*

Не этой ли верой спасался Заболоцкий!.. Ведь, кажется, именно с нею кровно связана вся глубина творческой интуиции и энергии созидания.

♦ *«Нужно действительное отречение от тщеславия, чтобы смочь быть простым, если, конечно, под силу быть таким; доказательством даже у больших мастеров служит то, что они почти всегда начинают с излишеств! (...) В молодости, когда все их возможности душат их, они отдают предпочтение напыщенности, остроумию... Они хотят больше блистать, чем трогать, они хотят, чтобы в изображённых ими лицах восхищались автором; они считают себя плоскими, когда на самом деле трогательны и ясны».*

Камешек в собственный огород, – кого, как не молодого Заболоцкого душили его возможности. Но в зрелости он обуздал воображение и нашёл в себе силы прийти к простоте. Высочайшее мастерство – то, в котором не заметно никакого мастерства.

♦ *«Манера есть то, что нравится пресыщенной и, следовательно, жадной до новизны публике; но именно манера ведёт к тому, что произведения этих артистов, вдохновенных, но обманутых ложной новизной, которую, по их мнению, они ввели в искусство, необыкновенно быстро стареют».*

Одни художники, сознательно или бессознательно, угождают публике – другие служат правде искусства. Временное – и вечное. Пряности щекочут гортань – но вечны только хлеб с водой.

♦ *«Он никогда не доволен достигнутым; он испортил свои лучшие вещи излишней отделкой; весь блеск первого порыва пропал. Относительно поэм это так же верно, как и относительно картин; они не должны быть чересчур законченными...»*

Это тонкое замечание точь-в-точь для самого Заболоцкого: друзья не раз замечали, что, увлекаясь отделкой или вовсе переделывая что-то, он порой портил стихи.

♦ *«Человек, перечитывающий рукопись с пером в руках, вносящий в неё поправки, является уже в известной мере другим человеком, не тем, каким он был в минуту излияний. Опыт учит нас двум вещам: первая – надо много поправлять; вторая – не следует поправлять слишком много...»*

Остроумное воспитание у себя чувства меры.

В первом предложении сформулировано чрезвычайно точное наблюдение: переписывающий – уже не тот, кто писал, – он изменился. Коль исправляешь, надо заново влезть в прежнюю собственную шкуру, ведь она успела стать немного другой; надо войти в прежнее состояние души. Иначе поправки испортят, а не уточнят образ задуманного.

♦ *«Проявлять смелость, когда рискуешь скомпрометировать своё прошлое, – это признак величайшей силы».*

Тут выражен закон движения, развития дара, его постоянного обновления, которое и должно быть единственно неизменным свойством в постоянно изменяющемся художнике. По стилевым *переходам* Заболоцкого – в течение всей его творческой жизни, а также по замыслам, которые он хотел осуществить после поэмы «Рубрук в Монголии», видно: поэт в полной мере обладал этой *величайшей силой*.

* * *

Художественное совершенство само по себе манило его, – но мало в ком из современников он это видел, разве что в *позднем* Пастернаке. *Раннего* – отрицал: «алогичная тёмная речь Пастернака» (определение из статьи 1937 года). Молодому поэту Андрею Сергееву советовал присмотреться к военным и послевоенным стихам Бориса Пастернака, где уже нет «нарочитости».

«Суммируя разговоры, могу сказать, – вспоминал позже А. Сергеев, – что из современных поэтов Заболоцкий ценил некоторые стихи Мартынова и даже читал их вслух. Хорошо отзывался он и о Слуцком. Зато Ахматову отрицал: по утверждениям ленинградских приятелей, он как-то в застолье отказался поднять за неё бокал, якобы пробормотав при этом: «Баба хорошо не напишет!» Видимо, острые язычки потом довели это ворчание до логического конца, приписывая Заболоцкому уже иронический афоризм: “Курица не птица, баба не поэт”. Впрочем, к стихам поэтесс он, действительно, был холоден... Ахматовой, конечно, пересказали слова Заболоцкого, и она платила ему ответным непризнанием. О стихах Пастернака

сороковых-пятидесятых годов Заболоцкий говорил не то с восхищением, не то с уважением. Из личного общения у них вряд ли что могло получиться. Помню слова Николая Алексеевича:

– Шкловский и Пастернак всегда говорят так сумбурно, что хочется попросить их повторить сказанное.

Сам Николай Алексеевич говорил как по писанному».

К словам А. Сергеева, для полноты картины, следует добавить, что из современников нравились Заболоцкому стихи П. Семьинына, А. Тарковского и «немногих других» – как сообщает Н. Н. Заболоцкий, добавляя насчёт Пастернака, что отец «в своих честолюбивых мечтах только ему готов был уступить первенство в современной поэзии».

Ю. Колкер начинает свою статью о Заболоцком с утверждения, что тот «считал себя “вторым поэтом XX века” (после Пастернака; без оглядки на то, что век ещё не закончен)» и что «с этим мало кто сейчас согласится». Из контекста этой цитаты следует, что забранные в кавычки слова о «втором поэте XX века» принадлежат самому Заболоцкому, – однако где, когда Николай Алексеевич это писал или же говорил? Ни сын поэта, ни Колкер источник не указывают, – мне же, например, нигде не встретилось даже намёка на такое.

Н. Роскина пишет, что к Пастернаку Заболоцкий относился *благоговейно, как к самой поэзии*. «Помню, как он осторожно раскрыл книжку, подаренную ему Пастернаком, любовным движением вынул из неё записочку и показал мне из своих рук. Пастернак приглашал обедать и просил захватить “Безумного волка”».

За годы знакомства Николай Чуковский отметил, как менялось отношение его товарища к стихам Пастернака. Поначалу Заболоцкий их не любил и первыми оценил переводы. «Я помню, как в конце сороковых годов мы были с ним у Пастернака в гостях. Пастернак прочёл нам несколько глав из “Доктора Жеваго” и несколько стихотворений, приписанных его герою. Заболоцкий был добр, внимателен, любопытен, но я видел, что всё это произвело на него не слишком большое впечатление. <...> В последние годы своей жизни он относился к Пастернаку с благоговением – и к его личности, и ко всему, что Пастернак писал».

Благоговейно – это вполне понятно. Но вот насчёт *первенства в поэзии XX века* (разумеется, русской поэзии)? Та же Роскина, которой, полагаю, можно доверять, пишет:

«<...> что касается поэзии – тут он *никогда не признавал ничего превосходства даже в самых частных вопросах* (курсив мой. – В. М.) Уступить, вернее сделать вид, что уступил, он мог только из вежливости. Если он спрашивал моё мнение о каком-нибудь своём стихотворении, и я позволяла себе высказать отрицательное суждение об одной строчке или слове, он хмурился и возражал: “Почему тебе не приходит в голову, что это недостаток твоего воспринимающего аппарата?”»

Никита Заболоцкий свидетельствует, что отец «против обыкновения» сохранил записку Пастернака и хранил её в подаренной ему книге, которая стояла на почётном месте в книжном шкафу. Стихи из «Доктора Жеваго» (позже он прочёл и весь роман в рукописи) Заболоцкий переписывал себе в тетрадь и особенно восхищался «Рождественской звездой», относя её к вершинам мировой лирики.

12 августа 1953 года чета Заболоцких обедала у Пастернаков, другим гостем был Симон Чиковани. Николай Алексеевич прочёл хозяину дома «Безумного волка» и несколько новых стихотворений, заслужив его похвалу.

Впоследствии Борис Пастернак на редкость образно отозвался о стихах Заболоцкого: «Когда он читал свои стихи, мне показалось, что он развесил по стенам множество картин в рамках, и они не исчезли, остались висеть...»

Очень скоро появилась ещё одна картина – точнее сказать, медальон с поразительно точным портретом.

ПОЭТ

Чёрен бор за этим старым домом,
 Перед домом – поле да овсы.
 В нежном небе серебристым комом
 Облако невиданной красоты.
 По бокам туманно-лиловато,
 Посредине грозно и светло, –
 Медленно плывущее куда-то
 Раненого лебедя крыло.
 А внизу на стареньком балконе –
 Юноша с седою головой,
Как портрет в старинном медальоне
 Из цветов ромашки полевой.
 Щурит он глаза свои косые,
 Подмосковным солнышком согрет, –
 Выкованный грозами России
 Собеседник сердца и поэт.
 А леса, как ночь, стоят за домом,
 А овсы, как бешеные, прут...
 То, что было раньше незнакомым,
 Близко сердцу делается тут.
 1953

Новой большой работой Заболоцкого в эти годы стал полный перевод поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Изучение подстрочника, консультации с грузинскими филологами, переговоры с издательством – всё это потребовало поездок в Грузию, – а тем временем здоровье поэта ухудшалось: болело сердце, сдавало зрение. График же его огромного по объёму труда был весьма напряжённым...

В середине сентября 1954 года Заболоцкого свалил тяжёлый инфаркт. Два месяца в постели, без движения...

18 ноября он писал к С. Чиковани, который стал редактором его перевода:

«Я уже третий месяц валяюсь больной. Теперь начинаю вставать и немного ходить. Работать ещё не позволяют и, наверное, не позволят ещё долго. <...>

Извини за неряшливое письмо – пишу лёжа».

Восстановление от хвори шло медленно, про что говорят короткие письма к Чиковани.

19 июля 1955 года:

«Я нынче на даче под Москвой, где работаю и понемногу поправляюсь. Всё ещё не могу поправиться как следует, чему, впрочем, вредит работа. Работаю больше, чем следует. А без работы мне скучно».

30 августа 1955 года:

«Дорогой Симон!

Я стал хуже себя чувствовать, и поэтому пришлось поехать в санаторий до 25 сентября. Очень жалею, что так получилось; без меня тебе будет труднее договариваться о Руставели. <...>

Я пока ехать в Грузию не могу. Ты, очевидно, много времени провести в Москве со мною тоже не сможешь. Может быть, тебе сейчас лучше взять из Гослитиздата

мою рукопись с собою, дома, в Грузии, сличить её с оригиналом, сделать свои заметки и замечания, а затем, когда у тебя будет время (через месяц-два), приехать в Москву и поработать здесь со мной. <...>

Моя рукопись вполне рабочая: там надо ещё порядочно поработать, так как есть много неточностей перевода. Но самое сложное заключается в том, что может врать подстрочник – и вот тут-то я без твоей помощи бессилён».

В начале 1956 года эта большая работа была закончена, и в следующем году поэма Шота Руставели, в роскошном издании, с прекрасными иллюстрациями, вышла в свет.

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА

Пришла очередь обратиться к тому, в чём разобраться в принципе невозможно.

Есенин когда-то сказал о любовных чувствах:

Если тронуть страсти в человеке,
То, конечно, правды не найдёшь.

Просто и верно. Этой *правды*, похоже, не знают даже сами *страстотерпцы*, не то что люди со стороны.

Никите Заболоцкому, как биографу, пришлось сказать несколько слов о том, что произошло с его родителями в середине пятидесятых годов. Наверное, нелегко ему это было сделать... Он вспоминает осень 1956 года, когда вместе с отцом и матерью был в Гурзуфе: можжевельник в Никитском саду, прогулку на глассере вдоль крымских берегов к «Пушкинскому гроту» – всё это вскоре вошло в образы отцовских стихов:

«В Москву муж и жена Заболоцкие отправились порознь, 18 и 19 октября. В их семье наступило трагическое время разлада. Странная это была размолвка – оба тосковали друг без друга, но упрямо пытались создать себе какую-то другую жизнь, соединившись с другими людьми. Очень скоро оба поняли, что из этого ничего не может получиться: слишком многое их связывало, слишком тяжёлые испытания выдержала их любовь в прошлом, слишком они были немолоды и любили друг друга».

И далее Н. Н. Заболоцкий, стараясь быть отстранённо-объективным, излагает то, что завязалось в Беговой деревне запутанным узлом.

Сдружились по-соседски – домами – две писательские семьи: Заболоцких и Гроссманов. Но вскоре прошёл лёгкий радостный хмель первого знакомства, отношения осложнились. «Разговоры с Гроссманом неизбежно обращались к тому предмету, который растревлял старые душевные раны Заболоцкого и нарушал с трудом установившееся равновесие, необходимое для жизни и работы поэта. И он отказывался продолжать подобного рода беседы».

Что это значит в переводе с объективного языка на предметный? Василий Семёнович расспрашивал Николая Алексеевича не просто так, а, мягко говоря, из писательской корысти: он работал над романом, и ему нужен был *материал* для образа одного из главных персонажей – бывшего заключённого. Сам Гроссман не *сидел*, а тут Заболоцкий – кладёшь, так сказать, лагерного опыта. Но поэт чем дальше, тем больше замыкался. Мало, что такие беседы травмили ему душу, – он всерьёз опасался за себя и за семью: политический режим ведь никуда не делся, он лишь поотпустил вожжи... (Кстати, то, что Заболоцкий не рассказал о своей

лагерной судьбе Гроссману, поведала ему чуть позже, во время совместной жизни, Екатерина Васильевна, которой муж рассказывал всё, – и это затем благополучно вошло в роман «Жизнь и судьба» – задолго до того, как вышли в свет воспоминания самого Заболоцкого о заключении.) Потом всё усугубилось тем, что Екатерина Васильевна не смогла остаться «равнодушной к силе ума, таланту и мужскому обаянию Гроссмана». Того же «(...) особенно трогали душевная чуткость и расположение Екатерины Васильевны, её готовность прийти на помощь всякий раз когда он нуждался в моральной поддержке».

На смену встречам во время семейных застолий пришли прогулки вдвоём «где-нибудь в Нескучном саду» или просто по городским улицам.

«Николай Алексеевич видел, что дружеские отношения его жены и Гроссмана перерастают в более глубокое чувство. Сначала, уверенный в преданности жены, он не очень беспокоился, но, вероятно, в первые месяцы 1956 года понял, что опасность надвигается на него с той стороны, с которой он менее всего её ждал. Жена призналась ему, что влюблена в Гроссмана. Заболоцкий потребовал от неё прекратить всякие встречи с Василием Семёновичем, но выполнить это требование оказалось нелегко. Всегда послушная воле мужа, Екатерина Васильевна проявила твёрдость и сказала, что в её отношениях с Гроссманом нет ничего предосудительного и порвать их она не может.

Возникшая какая-то двойственная, неопределённая ситуация была для Заболоцкого невыносима. В конце концов, после тяжёлых объяснений с женой в Крыму и сразу после возвращения в Москву, он объявил, что так жить не может и что им нужно расстаться. Пусть Екатерина Васильевна уходит к Гроссману, а он найдёт себе другую жену».

Всё это – сюжет, пересказ, иначе говоря – проза. А на самом деле и муж и жена испытали глубокое внутреннее потрясение.

Арсений Тарковский говорил: «Проснулась женщина в пятьдесят лет!» Юрий Колкер глядит глубже: «Но что же случилось с Екатериной Васильевной? Уйти от мужа, едва оправившегося от инфаркта? От человека, которому вся жизнь была посвящена? Что же, она в одночасье перестала быть “лучшей из женщин”, “ангелом-хранителем”? Нет, конечно. Просто в сердечных делах она была ещё большим младенцем, чем Заболоцкий, и попала в первую же ловушку. Не ведала, что творит».

До разрыва с Екатериной Васильевной Заболоцкий не писал любовных стихов, – правда, в молодости он сочинял некие послания к «предметам» своих увлечений, но вряд ли это были полноценные художественные произведения, потому что поэт вскоре затребовал их назад и сам же уничтожил. Николай Чуковский называл характер Заболоцкого «целомудренно-скрытным»: его друг никогда не говорил о личном. И заметил: «Нужна была трагедия, нужна была нестерпимая боль, чтобы преодолеть эту скрытность, чтобы вынудить его нарушить стоном это принудительное молчание». Страдание вернее всего высекает поэзию...

Принесли букет чертополоха
И на стол поставили, и вот
Предо мной пожар и суматоха
И огней багровых хоровод.
Эти звёзды с острыми концами,
Эти брызги северной зари
И гремят и стонут бубенцами,
Фонарями вспыхнув изнутри.

Это тоже образ мироздания,
 Организм, сплетённый из лучей,
 Битвы неоконченной пыланье,
 Польшанье поднятых мечей.
 Это башня ярости и славы,
 Где к копьё приставлено копьё,
 Где пучки цветов, кровавоглавы,
 Прямо в сердце врезаны моё.
 Снилось мне высокая темница
 И решётка, чёрная, как ночь,
 За решёткой – сказочная птица
 Та, которой некому помочь.
 Но и я живу, как видно, плохо,
 Ибо я помочь не в силах ей.
 И встаёт стена чертополоха
 Между мной и радостью моей.
 И простёрся шип клинообразный
 В грудь мою, и уж в последний раз
 Светит мне печальный и прекрасный
 Взор её неугасимых глаз.

(«Чертополох», 1956)

Никто, конечно, не «приносил» и не ставил на стол букет из колючего сорняка. Можно представить крымскую осень, горные тропы, заросшие по обочинам кустами пылающего чертополоха. Бредущему по тропе поэту он казался образом разрыва, режущей сердце разлуки...

Так начал складываться *первый и последний* у Заболоцкого цикл любовной лирики «Последняя любовь».

Ещё в Крыму, во время объяснений с женой, ему повсюду чудились образы расставания.

На сверкающем глассере белом
 Мы заехали в каменный грот,
 И скала опрокинутым телом
 Заслонила от нас небосвод. <...>
 Под великой одеждою моря,
 Подражая движениям людей,
 Целый мир ликованья и горя
 Жил диковинной жизнью своей.
 Что-то там и рвалось, и кипело,
 И сплеталось, и снова рвалось,
 И скалы опрокинутой тело
 Пробивало над нами насквозь. <...>

(«Морская прогулка», 1956)

...Тут надо бы вернуться на два года назад, чтобы лучше понять то состояние, в котором находился Заболоцкий. Страшные испытания лагеря (эти муки так и не оставили его до конца) и непомерный упорный труд по восстановлению благополучной жизни семьи не прошли даром. Евгений Львович Шварц, конечно, любил друга, но и видел издержки его характера. Говорил ли ему прямо об этом? Вряд ли, скорее молчал. Иначе не появились бы в его «Дневнике» такие записи:

«...» А Николая Алексеевича стали опять охватывать пароксизмы самоуважения. То выглянет из него Карлуша Миллер, то вятский мужичок на возу, не отвечающий, что привёз на рынок, по загадочным причинам. Бог с ним. Без этого самоуважения не одолел бы он ни “Слово”, ни Руставели и не написал бы множества великолепных стихотворений.

Но когда, полный не то жреческой, не то чудаческой надменности, вещал он нечто, подобное тому, что “женщины не могут любить цветы”, испытывал я чувство неловкости. А Катерина Васильевна только улыбалась спокойно. Придавала этому ровно столько значения, сколько следовало. И всё шло хорошо, но вот в один несчастный день потерял сознание Николай Алексеевич. Дома, без всякого видимого повода. Пил много с тех пор, как жить стало полегче. Приехала “неотложная помощь”. Вспрыснули камфару. А через полчаса или час – новый припадок. Сердечный. Приехал профессор, который уже много дней спустя признался, что у Николая Алексеевича начиналась агония и что не надеялся он беднягу отходить. Кардиограмма установила инфаркт».

Имея в виду Заболоцкого, Шварц признаётся:

«Угловатость гениальных людей стала меня отталкивать. Он может и чудачествовать, и проповедовать даже методично, упорно своевольничать: жизнь его и гениальность его снимают с него вину. Страдания его снимают с него вину».

Врачи спасли поэта; жена самоотверженно выхаживала больного мужа. *Ангел, дней моих хранитель* – назвал он её в замечательном стихотворении «Бегство в Египет» (1955). Так оно и было. Е. Шварц в том же «Дневнике» оставил чудесный портрет её души; столь же высоко отзывались о Екатерине Васильевне и многие другие. Так, Николай Чуковский писал, что она была готова ради мужа на любые лишения, на любой подвиг. «По крайней мере, такова была её репутация в нашем кругу, и в течение многих-многих лет она подтверждала эту репутацию всеми своими поступками».

Он также заметил: «...» в преданности Катерины Васильевны было даже что-то чрезмерное. Николай Алексеевич всегда оставался абсолютным хозяином и господином у себя в доме. Все вопросы, связанные с жизнью семьи, кроме мельчайших, решались им единолично. «...» Катерина Васильевна никогда не протестовала и, вероятно, даже не давала советов. Когда её спрашивали о чём-нибудь, заведённом в её хозяйстве, она отвечала тихим голосом, опустив глаза: “Так желает Коленька” или “Так сказал Николай Алексеевич”. Она никогда не спорила с ним, не упрекала его – даже когда он выпивал лишнее, что с ним порой случалось. Спорить с ним было нелегко, – я, постоянно с ним споривший, знал это по собственному опыту. Он до всего доходил своим умом и за всё, до чего дошёл, держался крепко. И она не спорила.

Он платил её за покорность самой нежной, бесспорной любовью. «...»

И вдруг она ушла от него к другому.

Нельзя передать его удивления, обиды и горя. Эти три душевные состояния обрушились на него не сразу, а по очереди, именно в таком порядке. Сначала он был удивлён – до остолбенения – и не верил даже очевидности. Он был ошарашен тем, что так мало знал её, прожив с ней три десятилетия в такой близости. Он не верил, потому что она вдруг выскочила из своего собственного образа, в реальности которого он никогда не сомневался. Он знал все поступки, которые она могла совершить, и вдруг в сорок девять лет она совершила поступок, абсолютно им непредвиденный. Он удивился бы меньше, если бы она проглотила автобус или стала изрыгать пламя, как дракон.

Но когда очевидность сделалась несомненной, удивление сменилось обидой. Впрочем, обида – слишком слабое слово. Он был предан, оскорблён и унижен. А

человек он был самолюбивый и гордый. Бедствия, которые он претерпевал до тех пор, – нищета, заключение, не задевали его гордости, потому что были проявлением сил, совершенно ему посторонних. Но то, что жена, с которой он прожил тридцать лет, могла предпочесть ему другого, унизило его, а унижения он вынести не мог».

За полгода до этого Заболоцкому позвонила незнакомая женщина: званная однажды в гости, где он должен был читать стихи, она не сумела приехать и очень жалела об этом; просила при случае дать ей возможность побывать на его чтении. Поэт ответил, что сейчас чувствует себя плохо после инфаркта, но обещал позвонить, как поправится. Любительница поэзии вовсе не была уверена, что продиктованный ею телефон вообще был записан. И вдруг звонок: «С вами говорит Заболоцкий. Разрешите мне к вам приехать». Она подумала: чей-то глупый розыгрыш. Оказалось – нет.

Уже во вторую встречу, за ресторанным столиком, снова не очень трезвый, – он то и дело пил вино, – Заболоцкий вдруг написал ей на листке бумаги: «Я п. В. б. м. ж.». Конечно, она читала «Анну Каренину» и легко поняла, что речь о просьбе быть его женой.

Вот, что пишет Наталия Александровна Роскина в мемуарном очерке:

«Простите, – сказала я, – насколько я знаю, у вас есть жена”. – “Она уходит от меня, – ответил он, и на его глазах показались слёзы. – Она полюбила другого”. – “А кто он?” – “Он тоже писатель”. – “Хороший?” – глупо спросила я. – “Хороший. Ну, не очень хороший, но всё-таки хороший. Если бы вы знали, как я одинок!” Я молчала. “Подумайте. Прошу вас, подумайте”.

Времени “думать” у меня оказалось мало. Каждый день он приезжал за мной, ему уже казалось, что он влюблён безумно.

Я была измучена этими вечерами в ресторанах, после работы, его настойчивостью, вдохновлена его клятвами, его стихами».

Первым стихотворением, которое Заболоцкий ей посвятил, было «Письмо» – сумбурное и пылкое объяснение в чувствах, в художественном смысле – слабое. Поэт, конечно, это понимал и печатать не собирался. Позже сказал: «Я его хранить не буду, а ты – сохрани».

Там есть строка, совершенно обнажённая, беззащитная, растерянная, что ли...

Я – забытый ребёнок, забытый судьбой, позабытый в осеннем саду...

С большими странностями столкнулась молодая женщина: Заболоцкий как-то ей поведал, что советовался с женой, собиравшейся вот-вот от него уйти, жениться ему на Роскиной или нет. По словам поэта, «Екатерина Васильевна была сначала в ужасе от его решения, но потом, когда он дал ей прочесть одно моё сочинение (автобиографическую повесть о детстве, о смерти матери и гибели отца), она поверила, что я по крайней мере не какая-нибудь авантюристка».

Роскина жила с восьмилетней дочерью в перенаселённой коммуналке и не могла представить, как житейски устроятся в дальнейшем «столь разные существования» всех, кто угодил в эту историю.

«Тут он мне сказал, к кому уходит от него жена. Это имя было мне хорошо знакомо. Василий Семёнович Гроссман – близкий друг моего отца. Когда мой отец пропал без вести (и было ясно уже, что это означает), Василий Семёнович отыскал мой адрес и прислал мне, тогда незнакомой ему четырнадцатилетней девочке, письмо, в котором справлялся, не может ли он мне чем-нибудь помочь – деньгами, книгами. Так не поступил ни один из друзей моего отца, хотя их было много. После войны я бывала у Гроссмана и относилась к нему с глубочайшим уважением

и любовью. И Екатерина Васильевна заочно стала мне симпатична – это чувство сохранилось навсегда.

Пока всё кипело в сердцах пятерых людей (Василию Семёновичу предстояло оставить жену Ольгу Михайловну), пока все ещё по существу оставалось неопределённым, Николай Алексеевич стал всем говорить, что он женат на мне <...>».

Кроме «кипения сердец», у них начались бытовые мытарства: бездомье, временные пристанища, хлопоты по устройству и налаживанию жизни и работы. Порой доходило до анекдота: в декабре 1956 года, оформляя путёвки в Дом творчества в Малеевке, Заболоцкий забыл фамилию новой жены. «Он позвонил по телефону из Литфонда мне на работу и спросил: “Наташа, прости, как твоя фамилия?” – Я спокойно ответила: “Моя фамилия Роскина”. – “Да, правда. Я чувствовал, что что-то не так. Я написал – Соркина”. Все присутствовавшие, конечно, хохотали, я в том числе. Не смеялся только С. А. Макашин. Он сказал: “На фронте так женились”. Фронт – близость гибели, какая-то неистовая спешность радости, какое-то безумное смешение горя и счастья – это и была душа Заболоцкого».

Поэт Арсений Тарковский добродушно посмеивался над Заболоцким (впрочем, за глаза – чтобы не обидеть товарища): «Нашёл себе иудейскую девицу, она оказалась премиленькой, и решил отвлечься». Понятно, всё было далеко не так просто. Заболоцкий пытался как-то спастись – и не мог. После Малеевки у них с Роскиной начались ссоры и примирения, съезды и разъезды. Поэт то клятвенно обещал бросить пить, то следом заявлял: это сделать для него никак невозможно. Во время разрыва отношений – и *из разрыва*, как признавалась сама Наталия Александровна, появилось знаменитое стихотворение «Признание» («Зацелована, околдована...», 1957), тут же им отосланное Роскиной по почте. (Впоследствии эти стихи – сами по себе готовый романс – *положили на музыку*, и «Признание» с упоением – а больше с самоупоением – распевал с эстрады один разбитной шансонье с ну-очень-красивым псевдонимом, перед исполнением непременно объявляя: «Моя песня!» и при этом почему-то всегда забывая назвать имя поэта, сочинившего слова этой *его песни*. Впрочем, обычная практика для теперешней эстрады. Кто бы в прежние времена смел сказать о ставших романсами стихами «Я помню чудное мгновенье...» или «Я встретил вас, и всё былое...» – *моя песня?*..)

Заболоцкий и Роскина пожили понемногу и в её коммуналке на Мещанской, и у него в квартире на Беговой...

«Я поверила, что мы можем начать сначала, мне было страшно оставлять его одного, – вспоминала она. – Я всё-таки была к нему сильно привязана, и чувствовала какую-то ответственность за него, и очень хотела, чтобы он не пил и чтобы всё было хорошо. Без его ведома я советовалась с одним опытным врачом, который сказал мне: “Ему нельзя пить никогда, ни капли. Если он будет пить, то проживёт – ну, года полтора”. Прогноз этого врача оправдался с точностью до одного месяца».

Вполне возможно, и Заболоцкий чувствовал это, но ни разлука с Наталией Александровной, ни опасность для здоровья не остановили его:

«Однажды утром он сказал мне, что сегодня собирается начать пить. Он дал домработнице денег, чтобы она ехала за вином, а мне сказал, чтобы я ехала на Мещанскую. Это был февраль, студенческие каникулы, и его дети Наташа и Никита были в Ленинграде. С их разрешения я на это время поселила свою дочку Иру в их комнате. Ире было там очень хорошо, так как её мыли в человеческой ванне, да и вообще. Она предполагала, что будет здесь ещё несколько дней, но кротко стала натягивать шубку. Я сказала Николаю Алексеевичу, что этот случай в нашей жизни – последний».

Цикл «Последняя любовь» (из десяти стихотворений) по названию прямо соотносится с известным стихотворением Ф. И. Тютчева:

О, как на склоне наших дней
 Нежней мы любим и суеверней...
 Сияй, сияй, прощальный свет
 Любви последней, зари вечерней! <...>

Шедевр Тютчева посвящён одной женщине – Е. А. Денисьевой, а у шедевра Заболоцкого не так всё определённо: одни стихотворения связаны с Н. А. Роскиной, другие – с женой, Екатериной Васильевной. Точнее бы сказать, в лирической героине этого цикла слились воедино черты обеих женщин, – так распорядилось воображение поэта. До сей поры литературоведы не пришли к единому мнению, кому посвящены те или иные стихи. Казалось бы, «Признание» обращено к Наталие Александровне. Однако единственную в пятистрочном стихотворении *портретную* строфу («Отвори мне лицо полуночное, / Дай войти в эти *очи тяжёлые*, / В эти *чёрные брови восточные*, / В эти руки твои *полуголые*») можно отнести и к Екатерине Васильевне, в облике которой, по общему впечатлению видевших её, было что-то *восточное*.

Или стихотворение «Можжевеловый куст» (1957).

Кому оно посвящено? Конечно, большей частью – жене. Однако...

Я увидел во сне *можжевеловый куст*,
 Я слышал вдали металлический хруст,
Аметистовых ягод слышал я звон,
 И во сне, в тишине, мне понравился он. <...>

Можжевельник рос у крымской тропы, где гулял поэт с женой в канун разрыва. А ожерелье из *аметистов* он подарил Роскиной перед Малеевкой: после расставания она «постаралась избавиться» от этих аметистов, «которые, по системе суеверий, связанных с камнями, приносят несчастье».

Я почуял сквозь сон лёгкий запах смолы.
 Отогнув невысокие эти стволы,
 Я заметил во мраке древесных ветвей
 Чуть живое подобье улыбки твоей.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
 Остывающий лепет изменчивых уст,
 Лёгкий лепет, едва отдающий смолой,
 Проколовший меня смертоносной иглой!

В золотых небесах за окошком моим
 Облака проплывают одно за другим,
 Облетевший мой садик безжизнен и пуст...
 Да простит тебя бог, можжевеловый куст!

То же самое можно увидеть и в стихотворениях «Последняя любовь» (1957), «Клялась ты – до гроба / Быть милой моей...» (1957), и в других. Лишь последние стихотворения цикла: «Встреча» и «Старость» (1956) полностью обращены к жене.

Чрезвычайно характерно, заметил Ю. Колкер, что в этом лирическом цикле, одном из самых щемящих и мучительных в русской поэзии, героиня едина в двух лицах, и большей частью стихи посвящены жене. «Он именно полюбил её с новой силой; переживал за неё; понял, что и на него ложится доля ответственности за постигшую его катастрофу. Точнее, за катастрофу, постигшую их обоих».

Да и Наталия Александровна Роскина однажды поведала взрослому сыну поэта Никите, что не может ничего сделать для Заболоцкого: ««...» он всё время думает только о Екатерине Васильевне».

Семён Липкин в книге о В. С. Гроссмане зарекается писать о последней любви своего героя, «принёсшей ему много счастья и *страдания* и оказавшейся *мучительной* (курсив мой. – В. М.) для четырёх чистых, хороших людей»: дескать, ещё рано да и трудно об этом писать. Почему-то он не вспоминает при этом про *пятого* человека в этой истории – Наталию Роскину. И почему-то ни словом не оговаривается о *страданиях* Заболоцкого, уж никак не меньших, чем у Гроссмана.

Юрий Колкер несравненно объективнее смотрит на происшедшее:

«Когда вглядываешься во всё это, за Екатерину Васильевну становится страшно не меньше, чем за поэта. Винить её не в чем. Гроссман, опытный сердцеед, мог не понимать, что делает. Для Роскиной эта история была всё же приключением, пусть и мучительным. Для Клыковой, как и для Заболоцкого, произошло землетрясение, разлом тектонической плиты. Екатерина Васильевна прожила ещё долгие годы – и, надо полагать, в оцепенении от случившегося».

* * *

После полного разрыва с Н. Роскиной товарищи и приятели, навещавшие Заболоцкого, долгое время заставляли одну и ту же картину: поэт в одиночестве сидел за бутылкой вина и без конца слушал одну и ту же пластинку – «Болеро» Равеля. Кончалась – тут же заводил снова, несчётное количество раз, не участвуя в разговорах и ни на что другое не обращая внимания. Он словно был под каким-то музыкальным, ритмическим гипнозом. Однажды Заболоцкий попытался выразить своё сомнамбулическое состояние в одноимённом стихотворении – «Болеро» (1957), но вряд ли сказался в нём полностью. Строки «Есть в этом мире праздник изначальный – / Напев волынки скудный и печальный / И эта пляска медленных крестьян...», на первый взгляд, ничего не проясняют и ни о чём не говорят, – но в них чудится отдалённый намёк на разгадку. Лишь в последней строке стихотворения эта разгадка выходит наружу, явственно заявляется:

О, болеро, священный танец боя!

Ведь болеро – действительно, боевой танец: скудный и печальный напев всё более и более усиливается, ритм возрастает до небывалого напряжения и наконец разрешается сокрушительным взрывом барабанов и тарелок – железа, на жаргоне музыкантов.

Не свою ли жизнь неволью созерцал в помутнённом сознании Заболоцкий...

В ГОРОДЕ ТАРУСЕ

Он осознал: другая жена невозможна.

А та, единственная?.. Ну, уж как будет, как получится.

И успокоился. Пить вино – почти перестал, взялся за работу.

Очень похоже, что Николай Чуковский точно уловил суть того, что произошло в душе Заболоцкого. (Позже, незадолго до его кончины, Н. Чуковский был не стол,

чуток и пытался неудачно, если не глумливо, пошутить над своим товарищем, «самодеятельным мудрецом», по поводу его отношения к смерти и бессмертию, – это закончилось разрывом отношений; но тогда, в острую пору личной трагедии поэта, он разделил его боль и всё понял верно.)

«И удивление, и обида – всё прошло, осталось только горе, – пишет Н. Чуковский. – Он никогда не любил, кроме Катерины Васильевны, и никогда больше не мог полюбить. С новой женой он не сжился не потому, что она была чем-нибудь нехороша, а потому что она была не той единственной, которую он любил. Оставшись один, в тоске и несчастье, он никому не жаловался. Он продолжал так же упорно и систематично работать над переводами, как всегда, он внимательно заботился о детях. Все свои муки он выразил только в стихах, – может быть, самых прекрасных из всех, написанных им за всю жизнь. <...>

Теперь он уже не её одну винил в разрыве. Он считал, что оба они виноваты, – значит, винил и себя. <...>

Он думал о ней постоянно. Видел её всюду. Нежное, точное, необычайное изображение того, как она явилась ему во сне, мы находим в его стихотворении “Можжевеловый куст”. <...>

Как отличается нежность и изящная мягкость этих печальных стихов от весёлой грубости “Столбцов”, с которых он начинал свой путь! <...>

Он уже хорошо понимал, что с ним случилось несчастье, которого не поправишь. Несчастье смягчило его, открыло в его душе те стороны – доброту, сочувствие к людям, – которые всегда были в ней, но в молодые годы заслонялись насмешливой суровостью. Несчастье смягчило его, но не сломило. Он нёс его как сильный и гордый человек. Он очень много работал, но жадно интересовался литературой, жизнью, политикой, историей. Он писал стихи, проникнутые удивительной нежностью к людям, – “Некрасивая девочка”, “Старая актриса”, <...> “Это было давно”, “Казбек” <...>».

Время от времени Екатерина Васильевна навещала детей на Беговой; часто приходил Арсений Тарковский, пытавшийся примирить мужа и жену; заходили в опустевшую квартиру поэты-переводчики А. Межиров, Е. Винокуров и другие. Они чувствовали: Заболоцкий уже не тот, он замкнулся, стал отстранённым...

Даже к выходу четвёртой книги стихов, самой полной из всех прижизненных (май 1957 года), он отнёсся довольно безучастно, хотя, конечно, был рад этому событию.

Сначала рукопись долго лежала в издательстве «Советский писатель» (где директором был доносчик Лесючевский); потом поэт пересмотрел её и отдал в Гослитиздат. После долгих мытарств, согласований и сокращений от восьмидесяти оригинальных стихотворений 1930–1950 годов осталось шестьдесят девять. В сборник вошли также избранные переводы с грузинского и немецкого, перевод «Слова о полку Игореве». Книгу сразу же заметили и читатели, и критики: для любителей поэзии это был долгожданный подарок.

Ещё после подборки новых стихов в сборнике «Литературная Москва» (1956) о Заболоцком оживлённо заговорили в литературных обзорах, – теперь же о нём стали писать ещё чаще. Молодой критик Алла Марченко назвала его «одним из наиболее значительных и тонких современных лириков»; другие отмечали взыскательность мастера поэтического слова, глубину и своеобразие его поэзии. Разумеется, некоторые обозреватели по-прежнему с настороженностью писали о новых публикациях поэта, но всё же, по сравнению с недавними временами, тон критической мысли заметно изменился к лучшему.

Марина Чуковская писала:

«Помню, в 1957 году он приехал в Переделкино к Корнею Ивановичу, непроницаемый, замкнутый, весь в чёрном, и церемонно вручил Корнею Ивановичу только что вышедшую книжечку стихов. Церемонно просидел, сколько положено, и уехал. А мы стали читать – и не могли оторваться... Когда прочитали “Журавли”, Корней Иванович заплакал».

* * *

В городок Тарусу на Оке Заболоцкого звали Гидаши: Антал и Агнесса. Ещё как-то в Дубултах они рассказывали об этом тихом калужском уголке, а потом в Москве уговорили поэта наскоро собраться и увезли на своей машине туда. Да он и сам понимал: пора сменить обстановку.

Несуетный, милый, живописный русский городок; плавная широкая Ока в кудрявой зелени лесов; вольные заросли сирени; мальвы и ромашки в палисадниках. Товарищи быстро подыскали съёмное жильё на улице Карла Либкнехта – две комнатки с террасой, выходящей во двор, полный домашней птичьей живности.

Следом за отцом самоходом, поездом и автобусом, приехала взрослая двадцатилетняя дочь Наташа. Отыскала по адресу Гидашей, навстречу вышел хозяин семьи. Наташа, забыв его имя, просто сказала: «Здравствуйте, куда вы дели моего папу?» Антал рассмеялся.

Полвека спустя она вспоминала:

«Папа жил в небольшом домике совсем недалеко, на тихой соседней улице с множеством тропинок в зарослях спорыша и аптечной ромашки. Дважды в день тихонько проходило стадо (козы, овцы, две-три коровы), людей не видно, а появление машины было событием. Большую часть дня он проводил в комнате перед окном на эту улицу. Там он работал за небольшим столом с пишущей машинкой «Continental». Как всегда вокруг папы, там уже образовалось особое упорядоченное пространство. Это абсолютный порядок, и чисто внешний – на письменном столе, в рукописях и в печатном тексте, в одежде. И внутри – он собран и сосредоточен, внимателен и доброжелателен. Обитатели дома отвечают деликатной почтительностью. Вокруг него каким-то образом исключается суета, грубость, навязчивость, капризы. Это знали всегда мы, дети, и в присутствии папы вели себя по мере сил достойно. Чувствуют это и обитатели дома на улице Карла Либкнехта».

Подробности тарусской жизни и природы девушка узнавала в отцовских стихах, которые, бывало, он ей первой и читал.

Скачет, свищет и бормочет
Многоликий птичий двор.
То могучий грянет кочет,
То индеек взвизгнет хор.

В бесшабашном этом гаме,
В писке маленьких цыплят
Гуси толстыми ногами
Землю важно шевелят.

И шатаюсь с боку на бок,
Через двор наискосок,
Перепонки красных лапок
Ставят утки на песок.

Будь бы я такая птица, –
Весь пылая, весь дрожа,
Поспешил бы в небо взвиться,
Ускользнув из-под ножа!

А они, не веря в чудо,
Вечной заняты едой,
Ждут, безумные, покуда
Распростятся с головой.

Вечный гам и вечный топот,
Вечно глупый, важный вид.
Им, как видно, жизни опыт
Ни о чём не говорит.

Их сердца послушно бьются
По желанию людей,
И в душе не отдаются
Крики вольных лебедей.
(«Птичий двор», 1957)

Владелец дома, по имени Фёдор Дмитриевич, день-деньской занят по хозяйству или же приторговывает с сада-огорода у ворот пионерского лагеря; он, пожалуй что, и выпивоха, но не буян. А хозяйка, Мария Дмитриевна, молчалива и работяща; ходит в церковь, что в соседнем селе. Не ханжа, – отмечает про неё дочь поэта. Оба они, и соседская девочка, и даже домашняя собачонка по кличке Дружок, особенно полюбившая Заболоцкого, – все, как на картине, в таком непритязательном, грустноватом его стихотворении «Городок» (1958):

Целый день стирает прачка,
Муж пошёл за водкой.
На крыльце сидит собачка
С маленькой бородкой.

Целый день она тарашит
Умные глазёнки,
Если дома кто заплачет –
Заскулит в сторонке.

А кому сегодня плакать
В городе Тарусе?
Есть кому в Тарусе плакать –
Девочке Марусе.

Опротивели Марусе
Петухи да гуси.
Сколько ходит их в Тарусе,
Господи Исусе!

«Вот бы мне такие перья
Да такие крылья!»

Улетела б прямо в дверь я,
Бросилась в ковыль я!

Чтоб глаза мои на свете
Больше не глядели,
Петухи да гуси эти
Больше не галдели!»

Ой, как худо жить Марусе
В городе Тарусе!
Петухи одни да гуси,
Господи Иисусе!

Никогда прежде Заболоцкий так пристально не всматривался в обычную жизнь обычных людей, – а теперь они как свои его сердцу...

По воспоминаниям дочери, Николай Алексеевич не выглядел тогда здоровым человеком: огрузнел, малоподвижен. Но по-прежнему он ни на что и никогда не жаловался. Наташа подмечала: «По утрам у него всегда светлое, сосредоточенное выражение. Чувствую в нём ранимость и незащищённость и в то же время строгую дисциплину, ответственность за рабочее состояние. <...> Когда возникали стихи? Мне кажется, что складывались они постепенно, а записывались часто тоже по утрам, однако основную массу работы составляли переводы. Впоследствии я часто узнавала черты и моменты нашей жизни, послужившие толчком к возникновению стихов или отдельных строк».

На прогулки поэт выбирался редко. Как-то пошли они с четой Гидашей к деревеньке Сутормино через колосющееся поле, где открывалась глазу долина реки Таруски. Агнесса вострогалась красотами пейзажа, – Заболоцкий слегка трунил над ней. На обратном пути Заболоцкий долго в задумчивости смотрел на женщин, полоскавших в запруде бельё. Позже, когда он прочёл стихотворение «Стирка белья», дочь вспомнила ту прогулку.

<...> Я сегодня в сообществе прачек,
Благотельниц здешних мужей.
Эти люди не дают лежачих
И голодных не гонят взашей.
Натрудив вековые мозоли,
Побелевшие в мыльной воде,
Здесь не думают о хлебосолье,
Но зато не бросают в беде.
Благо тем, кто смятенную душу
Здесь омоет до самого дна,
Чтобы вновь из корыта на сушу
Афродитою вышла она!
1957

По вечерам они всей компанией спускались к реке, где у причала покачивалась лодка, взятая Гидашами напрокат. На ней катались по Оке. Однажды уговорили сесть в лодку Заболоцкого. Неожиданно в днище обнаружилась течь, и он, побледнев, тут же велел грести к берегу. Должно быть, припомнилась поэту переправа на барже через Амур, когда все заключённые погибли, – и он с ними должен был

утонуть, если бы в последний момент его не выдернул из покорной толпы чертёжный начальник...

Наташа Заболоцкая не раз потом мысленно благодарила мужа и жену Гидашей за то, что они познакомили отца с Тарусой и подарили ему два лета счастливой размеренной жизни. Последние его два чудесных лета...

«Однажды, в приближении сумерек, невыносимый восторг переполнил меня и, добравшись до папы, как всегда сидевшего на скамейке, я, потрясённая, спросила: “О, ты видишь это, ты чувствуешь?” И позже узнала картину, меня потрясшую, в стихотворении “Вечер на Оке”.

Горит весь мир, прозрачен и духовен,
Теперь-то он поистине хорош,
И ты, ликуя, множество диковин
В его живых чертах распознаёшь».

Несколько раз они бывали в гостях у Паустовского, прочно обосновавшегося в Тарусе. Заболоцкий читал ему стихи, и Константин Георгиевич был явно растроган. «Видно было, что их связывало чувство взаимной нежной почтительности», – вспоминала дочь. Сохранилось письмо Паустовского к В. А. Каверину: «Здесь летом жил Заболоцкий. Чудесный, удивительный человек. На днях приходил, читал свои новые стихи – очень горькие, совершенно пушкинские по блеску, силе поэтического напряжения и глубине». Но чаще всего отец с дочерью проводили вечера в доме Гидашей: пили чай, вино, что-нибудь читали друг другу или же играли в домино.

Ещё в годы неволи Заболоцкий мечтал провести остаток жизни не в большом столичном городе, а в каком-нибудь захолустном тихом городке – вдали от суеты, от человеческого сутолопища. Таруса напомнила ему это сокровенное желание. Она чем-то походила на уездный Уржум, город детства. Заболоцкому здесь хорошо жилось и работалось, и он захотел последовать примеру Паустовского и жить в Тарусе не наездами, а круглый год. Присмотрел новый рубленый дом на одной из улочек и уже по-хозяйски беседовал с владельцем о цене, о том, чего бы следовало пристроить и как уберечься от «жуков-точильщиков». Даже план своей будущей тарусской усадьбы набросал на листе бумаги.

Дворовые крикливые кочеты, которые в стихах его прежде совсем не беспокоились о своей участи и досаждали «девочке Марусе», теперь запели совсем по-другому:

На сараях, на банях и гумнах
Свежий ветер вздувает верхи.
Изливаются в возгласах трубных
Звездочёты ночей – петухи.

Нет, не бьют эти птицы баклуши,
Начиная торжественный зов!
Я сравнил бы их тёмные души
С циферблатами древних часов. <...>

Ярко светит над миром усталым
Семизвездье Большого Ковша,
На земле ему фокусом малым
Петушиная служит душа.

Изменяется угол падения,
 Напрягаются зрение и слух,
 И, взметнув до небес оперенье,
 Как ужаленный, кличет петух. <...>

И теперь, на границе историй,
 Поднимая свой гребень к луне,
 Он, как некогда витязь Егорий,
 Кличет песню надзвёздную мне!
 (*«Петухи поют», 1958*)

Безумный волк из одноимённой поэмы вывёртывал себе шею, чтобы видеть небо; звёзды, символы свободы, безмолвно сияли над двумя замерзающими стариками-крестьянами где-то в поле возле Магадана; и ныне тарусский безумный кочет пел в ночи поэту надзвёздную песню.

Всё сходилось – и было понятно, почему...

* * *

Осенью 1957 года Николай Алексеевич Заболоцкий впервые попал за границу, в Италию. Это была поездка группы советских писателей по приглашению итальянских коллег. Литературное начальство обычно подбирало для таких визитов людей проверенных, и Заболоцкого вряд ли бы включили в состав делегации, если бы не настойчивость итальянцев. Они хорошо помнили и ценили поэта ещё по «Столбцам».

Группу советских писателей возглавил Алексей Сурков; в неё вошли Микола Бажан, Вера Инбер, Михаил Исаковский, Леонид Мартынов, Александр Прокофьев, Борис Слуцкий, Сергей Смирнов, Александр Твардовский. «Это вообще была очень забавная делегация, если это сколько-нибудь забавно... – замечает М. Синельников. – Там были люди взаимоисключающие. <...> Например, в общей команде оказались Леонид Мартынов и лет за десять до этой поездки чуть не погубившая его Вера Инбер. И пришлось их “мирить” специально для этой экспедиции». У Заболоцкого тоже не со всеми в делегации были добрые отношения. Незадолго до этого редактор «Нового мира» А. Т. Твардовский при сотрудниках своего журнала довольно зло и нетактично высмеял одно из его стихотворений («Лебедь в зоопарке») за строку, где эта прекрасная птица была названа – «животное, полное грёз». Подчинённые хихикали вслед за хохочущим поэтом-редактором, который, будучи младше Заболоцкого на семь лет, свысока, как старший, укорял Николая Алексеевича: дескать, разве же можно так писать, «ведь не маленький уже»... Доведённый до слёз, Заболоцкий чувствовал себя оскорблённым...

В Рим вылетали самолётом, но Заболоцкому, больному сердцем, врачи порекомендовали поезд. Борис Слуцкий, верный по характеру, вызвался ехать с ним. Потом он вспоминал, как в Союзе писателей они дождались машину на вокзал. Заболоцкому хотелось курить, а папиросы он забыл дома. Слуцкий пишет: «В комнату вошёл невысокий обезьяновидный человек. Не вошёл, собственно, а только сунулся – искал кого-то. Николай Алексеевич так и кинулся к нему – попросил папиросу, и вошедший с радостной готовностью сказал:

– Пожалуйста, Николай Алексеевич, – и ушёл.

Николай Алексеевич сел, затянулся раз и другой, а потом, блаженствуя, спросил:

– Интересно, кто же это был – с папиросами?

Я ответил:

– Ермилов.

Николай Алексеевич бросил папиросу на пол, растоптал и нахмурился».

Никита Заболоцкий сопроводил этот случай такими словами:

«До конца жизни не прощал он прямых и косвенных виновников своих бед.

Помнил и помещённую в “Правде” грязную статью Ермилова, сильно повредившую его положению в литературе и обществе».

В Рим Заболоцкий и Слуцкий добрались 11 октября, опоздав на первую встречу с итальянскими писателями. Потом была Флоренция; там Заболоцкий выступил со своими мыслями о поэзии. Возгласив в заключение здравицу миру, радости, творчеству, он закончил словами: «Вот почему я не пессимист». Итальянцы не слишком поверили насчёт его оптимизма, посчитав это данью советской пропаганде. Поэт Анджело-Мария Рипеллино, с которым он сошёлся ближе других, позже навестил его в Москве на Беговой. Снова зашла речь про оптимизм.

– Но ваша поздняя лирики пронизана тоской, – сказал Рипеллино. – Оптимизм – пустое слово, устаревший шаблон.

– Во всяком случае моё искусство – утверждение жизни, – возразил Заболоцкий.

По мнению сына поэта, итальянцам трудно было понять, что оптимизм Заболоцкого «надсоциален» и основан на его собственных натурфилософских представлениях, а не на пропагандистском требовании. «В социальном плане он не был оптимистом и в те годы, уже не всегда сдерживая свои скрытые мысли, говорил, бывало, о жандармской сущности сталинского социализма».

Это подтверждает и дочь Наталья в своих коротких воспоминаниях об отце:

«В 50-х годах я, случалось, высказывала свои сомнения по поводу официальной пропаганды или по текущим событиям. Папа никогда не пускался в объяснения. Но бывал заметно доволен моим критическим настроем и повторял весело: “Это всё для дурачков”. И весело проходил по комнате, потирая руки».

Наталья Роскина вспоминала, что на её резкие критические высказывания о политике, Заболоцкий отвечал спокойно и твёрдо: «Для меня политика – это химия. Я ничего не понимаю в химии, ничего не понимаю в политике, и не хочу об этом думать».

А однажды дома сжал её лицо ладонями и, «заставляя смотреть в глаза, с какой-то жестокой торжественностью сказал: “Наташа! Я прошу тебя дать мне честное слово, что ты не занимаешься химией. Ты не занимаешься тем, что я называю химией. Честное слово”. Я охотно дала ему это слово».

Что же касается оптимизма, то и Роскина прекрасно понимала: Заболоцкий, зная, какой за ним догляд, был вынужден так говорить с иностранцем:

«Вот какой он был оптимист. Заговорили о возможной войне – с какой-то страшной реальностью он стал представлять мне её масштаб, а о себе сказал: “У меня тут погребок (он указал на нижние ящики большого павловского буфета), я буду пить не переставая”. Я сказала: “Неужели у мужчины во время войны другого дела не найдётся? И потом, что же будет со мной?” Он ответил: “Ты молодая, может ещё и удерёшь”. Никого он не обнадёживал, ни себя, ни близких, никакой пощады не ждал ни от истории, ни от своей судьбы».

В Италии Николай Алексеевич был потрясён живописцами: в галерее Уффици вглядывался в картины Боттичелли (и оставил потом запись у себя в книжке о «виноградных лицах у Боттичелли», о глазах «дивной чистоты»). Из поездки привёз альбомы Брейгеля, Матисса, Боттичелли, Сезанна, Моне, Шагала.

Советская делегация побывала в Болонье, Равенне, Триесте, Модене, Венеции; Слуцкому запомнилось добрая улыбка Заболоцкого, сидящего в гондоле. Когда венецианские власти вдруг решили почему-то выслать «русских коммунистов» из города и все ужасно расстроились, один Заболоцкий не утратил хорошего расположения духа, невозмутимо заметив: «Подумайте, куда нас высылают? В Рим!» – и всех развеселил.

Михаил Синельников (сын товарища Заболоцкого по его питерской молодости Исаака Синельникова) однажды услышал от Екатерины Васильевны Заболоцкой *изумительную историю* про итальянскую поездку мужа, случившуюся на обратном пути в Москву:

«Все погрузились в поезд. Заболоцкий, уже смертельно больной и очень усталый, сразу лёг на верхнюю полку и заснул.

Точнее, он не заснул, а прикрыл глаза, но его попутчики думали, что он спит. А в купе вошли Твардовский и Слуцкий. Твардовский указал на спящего, как казалось, Заболоцкого и тихо сказал Слуцкому: “Ведь каким хорошим человеком оказался, а какую ерунду всю жизнь писал!” Разумеется, Заболоцкий услышал эту фразу, но не позволил себе даже улыбнуться в своём мнимом сне. <...>

Да, Твардовский и Заболоцкий большую часть жизни не ладили.

Синельников утверждает, что Александр Трифонович «презирал» Николая Алексеевича, а тот в свою очередь заявлял жене, что такие поэмы, как “Василий Тёркин”, мог бы «строгать» каждые два месяца, если бы вдруг захотел халтурить.

Большие художники редко сходятся: известно, Льва Толстого раздражал Шекспир. Резкие высказывания наверняка были, однако, по нашему мнению, суть противоречий между Заболоцким и Твардовским в другом: тут *поэт* спорил с *прозаиком* (Твардовский однажды сказал о себе: да я, в сущности, прозаик).

Борис Слуцкий, спустя полтора десятка лет по кончине товарища, написал о нём стихотворение – «Заболоцкий спит в итальянской гостинице». Там есть поистине сердечные строки:

Я всматривался в сладостный покой,
усталостью, и возрастом, и ночью
подаренный. Я наблюдал воочью,
как закрывался он от звёзд рукой,
как он как бы невольно отстранял
и шёпоты гостиничного зданья,
и грохоты коллизий мирозданья,
как будто утверждал: не сочинял
я этого! За это – не в ответе!
Оставьте же меня в концов конце!
И ночью, и тем паче на рассвете
невинность выступала на лице.
Что выдержка и дисциплина днём
стесняли и заковывали в лапы,
освобождалось, проступало в нём
раскованно, безудержно, крылато.
Как будто атом ямба разложив,
поэзия рванулась к благодати!
Спал Заболоцкий, руку подложив
под щёку, розовую, как у дитяти,

под толстую и детскую. Она
покоилась на трудовой ладони
удобно, как покоится луна
в космической и облачной ледыни.
Спал Заболоцкий. Сладостно сопел,
вдыхая тибуртинские миазмы,
и содрогался, будто бы от астмы,
и вновь сопел, как будто что-то пел
в неслыханной, особой, новой гамме.
Понятно было: не сопит – поёт.
И упирался сильными ногами
в гостиничной кровати переплёт.

Путешествие по Италии утомило поэта – но и взбодрило, зарядило его новой энергией. Он обратился к переводам с итальянского, перевёл несколько стихотворений Рипеллино и Умберто Сабо. Одному из своих заочных почитателей, А. К. Крутецкому, потом черкнул в письме:

«Что с Вашим сердцем? Я тоже старый сердечник, так как здоровье моего сердца осталось в содовой грязи одного сибирского озера. (...) Но я и моё сердце – мы понимаем друг друга. Оно знает, что пощады ему от меня не будет, а я надеюсь, что его мужицкая порода ещё потерпит некоторое время». (6 марта 1958 г.)

Терпеть оставалось уже недолго...

ПОСЛЕДНЯЯ ЖИЗНЬ

Говорят, Арсений Тарковский гордился тем, что примирил чету Заболоцких. Однако что бы у него вышло, если бы у них самих не было к этому взаимного стремления?..

Одно из самых поразительных стихотворений цикла «Последняя любовь» – «Встреча» (1957). Ему предпослан эпитафия из романа Л. Толстого «Война и мир»: «И лицо с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как открывается заржавевшая дверь, – улыбнулось...» Н-да, сравнение...

Как открывается заржавевшая дверь,
С трудом, с усилием, – забыв о том, что было,
Она, моя неожиданная, теперь
Своё лицо навстречу мне открыла.
И хлынул свет – не свет, но целый сноп
Живых лучей, – не сноп, но целый ворох
Весны и радости, и, вечный мизантроп,
Смешался я... И в наших разговорах,
В улыбках, в восклицаньях, – впрочем, нет,
Не в них совсем, но где-то там, за ними,
Теперь горел неугасимый свет,
Овладевая мыслями моими.
Открыв окно, мы посмотрели в сад,
И мотыльки бесчисленные сдуру,
Как многоцветный лёгкий водопад,
К блестящему помчались абажуру.

Один из них уселся на плечо,
Он был прозрачен, трепетен и розов.
Моих вопросов не было ещё,
Да и не нужно было их – вопросов.

Очевидно, что разлука с женой была неестественным состоянием для Заболоцкого: в мыслях и в чувствах он всегда был с ней рядом.

В последнем стихотворении цикла – «Старость» (1957) воображение рисует ему желанную картину единства родных душ:

Простые, тихие, седые,
Он с палкой, с зонтиком она, –
Они на листья золотые
Глядят, гуляя дотемна.

Их речь уже немногословна,
Без слов понятен каждый взгляд,
Но души их светло и ровно
Об очень многом говорят. <...>

Тут и о животворном свете страдания, испытанном в жизни, и о том, что:

Изнемогая, как калеки,
Под гнётом слабостей своих,
В одно единое навеки
Слились живые души их.

Счастье чудится промельком зарницы: оно «такого требует труда!» – зато потухает быстро и исчезает уже навсегда.

В последних строках стихотворения – и всего цикла – мечтание о том, что так необходимо двум не уберегшим своего счастья людям:

Теперь уж им, наверно, легче,
Теперь всё страшное ушло,
И только души их, как свечи,
Струят последнее тепло.

В те два последних лета в Тарусе Заболоцкого не покидали эти его постоянные мысли, воплощаясь в стихах:

Кто мне откликнулся в чаще лесной?
Ты ли, которая снова весной
Вспомнила наши прошедшие годы,
Наши заботы и наши невзгоды,
Наши скитанья в далёком краю, –
Ты, опалившая душу мою?

(«Кто мне откликнулся в чаще лесной», 1957)

Надежда на новую – прежнюю – жизнь, которую он не мыслил без жены, не оставляла его:

Луч, подобный изумруду,
 Золотого счастья ключ –
 Я его ещё добуду,
 Мой зелёный слабый луч.
 (*«Зелёный луч», 1958*)

Эта надежда то воспаряла в его душе, то вновь слабела и пропадала почти на-
 совсем:

Славно ласточка щебечет,
 Ловко крыльями стрижёт,
 Всем ветрам она перечит,
 Но и силы бережёт.
 Реет верхом, реет низом,
 Догоняет комара
 И в избушке под карнизом
 Отдыхает до утра.

Удивлён её повадкой,
 Устремляюсь я в зенит,
 И душа моя касаткой
 В отдалённый край летит.
 Реет, плачет, словно птица,
 В заколдованном краю,
 Слабым клювиком стучится
 В душу бедную твою.

Но душа твоя угасла,
 На дверях висит замок.
 Догорело в лампе масло,
 И не светит фитилёк.
 Горько ласточка рыдает
 И не знает, как помочь,
 И с кладбища улетает
 В заколдованную ночь.
 (*«Ласточка», 1958*)

В январе 1958 года пришло известие о кончине Евгения Львовича Шварца.

Екатерина Васильевна выехала в Ленинград к Екатерине Ивановне, вдове Шварца, чтобы какое-то время пожить с нею, облегчить горе. Николай Алексеевич знал об этом. 20 января он написал жене письмо:

«Милая Катя. С тех пор, как я принял моё решение, мне стало спокойно на душе. Дай бог, чтобы и впредь было так же спокойно, как теперь. Ты будешь жить там, где захочешь, и так, как ты захочешь. Если ты будешь жить не у нас и лишь по временам нас навещать, мы будем рады и этому. Если случится так, что ты захочешь возвратиться к нам, мы с радостью встретим тебя. Если же не захочешь, мы будем знать, что тебе хорошо, и я не буду огорчать тебя своими упрёками. Дай бог тебе счастья, и прости меня за все мои несправедливые безумства.

Многие мои стихотворения, по существу, как ты знаешь, мы писали с тобою вместе. Часто один твой намёк, одно замечание – меняли суть дела, и я всё делал по-новому. А за теми стихами, что писал я один, всегда стояла ты, и я писал их.

чувствуя тебя рядом с собою. Спасибо тебе за это. Ты ведь знаешь, что ради моего искусства я всем прочим в жизни пренебрёг, и ты мне в этом помогла. Ты слишком долго помогала мне и устала. Но я не имею права уставать. Я целую твои руки, мой милый друг. Моё сердце полно благодарности и любви к нашему прошлому.

Ты дала мне очень много, и я благодарю судьбу за то, что ты была со мною. Я один виноват во всём, я беру на себя всю вину, и буду носить её на себе, и никогда и ни в чём не упрекну тебя. Прости же и ты меня, и дай тебе боже долгих дней и светлого счастья!

Теперь я спокоен и твёрд, и ты не должна беспокоиться обо мне. Я постоянно работаю, думаю, наши дети живут хорошо. *Теперь настала моя новая, тихая, последняя жизнь.* (Курсив мой. – В. М.) Мне спокойно. Спокойной ночи, мой друг!
К.»

В марте в Москве прошла декада грузинской литературы и искусства. В канун декады в Тбилиси вышла первая книга двухтомника «Грузинская классическая поэзия в переводах Н. Заболоцкого». «22 марта в Колонном зале, – пишет Никита Заболоцкий, – он торжественно читал отрывок из своего полного перевода поэмы Руставели:

Есть ли кто презренной труса, удручённого борьбой,
Кто теряется и медлит, смерть увидев пред собой?
Чем он лучше слабой пряжи, этот воин удалой?
Лучше нам гордиться славой, чем добычею иной.

Смерть сквозь горы и ущелья прилетит в одно мгновенье,
Храбрецов она и трусов – всех возьмёт без промедленья.
И детей, и престарелых ожидает погребенье.
Лучше славная кончина, чем постыдное спасенье!

Хроникальный фильм о грузинской эстраде сохранил для нас голос Заболоцкого, декламировавшего приведённые строки. Знаменательно, что это единственная оставшаяся звукозапись чтения поэтом стихов – и именно тех, в которых он, вторя Руставели, выразил своё отношение к достойной человека жизни и смерти. Вряд ли многие из сидящих в зале поняли, что поэт произнёс перед ними нечто вроде надгробного слова на приближающихся собственных похоронах».

По случаю грузинской декады Заболоцкий за заслуги в переводческой деятельности был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Разумеется, он был этому рад, как и любому другому знаку официального признания: это укрепляло и его положение как поэта, и положение семьи. Дома на Беговой это событие отметили с друзьями. Забрехала возможность издать новую книгу стихов – наконец со «*Столбцами*», но потом всё заглохло. «Они дурачки, что не признают меня, – говорил поэт сыну про власть имущих, – им выгодно было бы печатать мои стихи». А потом как-то добавил: «Меня уже не будет, но ты увидишь: лет через восемь меня начнут широко печатать...» – И почти не ошибся.

Для его поэзии 1957 год был необыкновенно плодотворен – по подсчётам сына-биографа, Заболоцкий написал тридцать три стихотворения. Да и в 1958 году, последнем в его жизни, прибавил к этому пятнадцать новых стихов и пять тысяч строк переводов с сербского. Нет, так и не дал передышки своему мужицкому сердцу Николай Алексеевич!..

Маргарита Алигер вспоминала, как в знойном июле 1958 года она побывала в Тарусе в гостях у Заболоцкого. Поехали они вместе с Либединскими. Накупили в Москве гостинцев, отыскивали любимое вино Заболоцкого «Телиани»:

«Он оказался дома один и ужасно нам обрадовался. Жил он дачником в небольшом старом тарусском домике с милым деревенским садом и охотно показывал нам невеликие свои временные владения, – видимо, он любил это место и ему тут было хорошо и покойно. Либединских было двое, и я была с дочкой, и водитель был за рулём машины, но мы всё-таки втиснули ещё и Заболоцкого туда же и поехали все вместе на другой берег Оки, в известное Поленово, посмотрели сохранившиеся там картины, знаменитых “Христа и блудницу”, которые именно тут, в Поленово и писались. Потом долго и весело купались в Оке, потом вернулись к Заболоцкому и с удовольствием обедали на небольшой застеклённой терраске. <...>

Помню, я прочитала Заболоцкому ходившие тогда в литературной среде иронические стихи неизвестного поэта Холина, очевидно очень позабавившие его:

.....
 Вот я... Уж дома не был сутки.
 А где я был? У Нюрки спал.
 А что жене своей сказал?
 Сказал, чтоб не было скандала:
 “Дела! Начальство задержало”.

Николай Алексеевич долго веселился и на разные лады, лукаво и с видимым удовольствием всё повторял одну строчку: “А где я был? У Нюрки спал». Очень ему пришлась по душе её интонация”.

В бедах и хворях Заболоцкий отнюдь не утратил любви к шутке. По всей видимости, общение с докторами подвигло его в те годы к сочинению забавного цикла лёгких стишков под названием «Из записок старого аптекаря». Там были такие, к примеру, экспромты:

Как хорошо, что дырочку для клизмы
 Имеют все живые организмы!

Или:

Дай хоть йоду идиоту –
 Не поможет ни на йоту.

Ещё:

Весьма возможно, что в солёном огурце
 Довольно много витамина С.

Чувство юмора у Заболоцкого было весьма своеобразным. Писатели в большинстве народ в быту злоязычный, любящий поточить язык по любому поводу, никого не щадя. Заболоцкий был иным. Он шутил – над житейским, над безобидными слабостями людей. По мнению Н. Роскиной, он обладал «совершенно очаровательным чувством юмора – наивным и в то же время изысканным». Роскина вспоминает, как хорошо всегда было Заболоцкому с детьми: у них было почти одинаковое чувство юмора. «Он постоянно цитировал стишок одной девочки:

Умру. И в русскую землю зароят меня.
 Французский не буду учить никогда.
 В немецкую книгу не буду смотреть.
 Скорее, скорее, скорей умереть!

И каждый раз охотно смеялся».

Удивительно и другое: в отличие от многих русских классиков, Заболоцкий не написал ни одной злой эпиграммы – ни на политиков, ни на писателей и литературных критиков, – хотя, казалось бы, поводов было больше чем достаточно...

Но вернёмся в летнюю Тарусу 1958 года.

Лидии Либединской тоже хорошо запомнилась эта поездка. Она вспоминает, как Заболоцкий, попивая любимое грузинское вино, с удовольствием декламировал Мандельштама:

В каждом маленьком духане
Ты товарища найдёшь,
Только спросишь Телиани –
Поплывёт Тифлис в тумане,
Ты в тумане поплывёшь...

Он поведал гостям о своём желании провести всю зиму в Тарусе, увлечённо рассказывал о своей новой большой работе – переводе эпоса о Нибелунгах.

Тогда же, в июле, к семье Гидашей приехал поэт Давид Самойлов. Наутро к ним в дом заглянул Николай Алексеевич. Самойлов вспоминал:

«Он был в сером полотняном костюме, в легкой соломенной шляпе. Опрятный, сдержанный, как всегда. Уже не главбух, а милый чеховский, очень российский интеллигент. Добрый, шутливый».

Все вместе спустились к Оке. Пока Гидаши катались по реке в лодке, два поэта сидели на скамейке, созерцая округу.

«Потом поглядел на меня и сказал:

– Отчего у вас лицо такое... впечатлительное? Сразу видно, что кукуетесь. А вам работать надо. Работать, и всё.

Он, наверное, и о себе так думал всю жизнь: работать – и всё. <...>

А потом он ещё раз глянул на меня и добродушно произнёс:

– Вы – чужак. – Помолчал и добавил: – А я – нет.

Он, видимо, гордился тем, что не чужак, и думал, что это отличает его от других поэтов.

Одна литературная дама там же, в Тарусе, сказала мне с раздражением и с некоторым недоумением:

– Какой-то он странный. Говорит одни банальности, вроде того, что ему нравится Пушкин.

Бедная дама привыкла к тому, что поэты стараются говорить не то, что другие, и вести себя как-то особенно.

А ему самоутверждаться не нужно было. Он был гордый, и если и суетный, то не в этом, не в том, что он называл – работа».

Не слова Заболоцкого – а своё состояние запомнил Самойлов:

«И помню тогдашнее ощущение *тайного восторга* (курсив мой. – В. М.), когда мы сидели с ним на лавочке над Окой несколько часов и переговаривались неторопливо».

Имя этому «тайному восторгу» – поэзия.

Корней Чуковский однажды, после рядового визита Заболоцкого, сказал родственникам нечто вроде того: а вот представьте, к нам сейчас заходил человек, сопоставимый с Тютчевым или Боратынским...

Алексей Колкер задаётся вопросом о славе и приходит к выводу, что рядом с «большой четвёркой» Заболоцкому не стоять. «Столетие со дня его рождения не стало национальным праздником, не сопровождалось пышными игрищами, вакханалией славословия, как дни Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, Цветаевой. И

это – к лучшему. Тех, возведённых на пьедестал, в юбилейные годы просто жалко становилось – так густо шла вместе с чествованием профанация. Заболоцкого в значительной степени забыли – и тем пощадили. К счастью для него и тех, кто любит его стихи».

Строгий критик позднего Заболоцкого Алексей Пурин в конце своих заметок пишет, несмотря на все претензии к его творчеству, поэт остаётся «и, вероятно, останется» в числе немногих, без которых непредставим «русский XX век». Столько имён, стоявших, казалось бы, в одном ряду с ним, потускнело, стёрлось – а звезда Заболоцкого стала «ещё заметней на очистившемся от ложных светил небосводе». И заключает: «Без Заболоцкого, без его мучительных метаморфоз, гармония невозможна».

Всех короче высказался Андрей Битов: «Баратынский стал крупнейшим поэтом 19-го века в 20-м, Заболоцкий станет крупнейшим поэтом 20-го в 21-м».

Но мы отвлеклись, – пора вернуться в год 1958-й.

Самое удивительное, пожалуй, тогдашнее стихотворение Заболоцкого – об угасании жизни и новых состояниях души – «На закате» (1958):

Когда измученный работой,
Огонь души моей иссяк,
Вчера я вышел с неохотой
В опустошённый березняк.

На гладкой шёлковой площадке,
Чей тон был зелен и лилов,
Стояли в стройном беспорядке
Ряды серебряных стволов.

Сквозь небольшие расстоянья
Между стволами, сквозь листву,
Небес вечернее сиянье
Кидало тени на траву.

*Был тот усталый час заката,
Час умирания, когда
Всего печальней нам утрата
Незавершённого труда.*

Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.

Несоответствия огромны,
И, несмотря на интерес,
Лесок берёзовый Коломны
Не повторял моих чудес.

*Душа в невидимом блуждала,
Своими сказками полна,
Незрячим взором провожала
Природу внешнюю она.*

*Так, вероятно, мысль нагая,
Когда-то брошена в глуши,*

Сама в себе изнемогая,
Моей не чувствует души.

По-настоящему трагичны строки об утрате незавершённого труда и об этой нагой мысли, ещё не почувствовавшей души поэта.

Он ощущал приближение неотвратимого в полном осознании того, как велики и совершенны его творческие возможности, как послушно слово, как дерзки ещё формирующиеся замыслы.

Он только что отправил в путешествие по необъятному азиатскому матерiku своего странника Рубрука, в котором, конечно же, содержалась немалая часть его собственной души, и французский монах глазами Заболоцкого созерцал «амфитеатр восточных звёзд»:

В садах Прованса и Луары
Едва ли видели когда,
Какие звёздные отары
Вращает в небе Кол-звезда. <...>
Там тот же бой и стужа та же,
Там тот же общий интерес.
Земля – лишь клочок небес и даже,
Быть может, лучший клочок небес. <...>
Идут небесные Бараны,
Плывут астральные Ковши,
Пылают реки, горы, страны,
Дворцы, кибитки, шалаши.
Ревёт медведь в своей берлоге,
Кричит стервятница-лиса,
Приходят боги, гибнут боги,
Но вечно светят небеса!

* * *

В начале сентября 1958 года, когда Заболоцкий приехал из Тарусы, Екатерина Васильевна уже снова жила на Беговой.

В это время в Москву прибыла с ответным визитом делегация итальянских писателей. Поэт Яков Хелемский запомнил дискуссию в Дубовом зале Дома литераторов. Он был удивлён: Заболоцкий, участник итальянской поездки, сидел не в центре, за *круглым столом*, а в сторонке, у стены. Николай Алексеевич выглядел неважно, и Хелемский догадался: потому и расположился ближе к выходу. Тут объявили: знаменитый поэт Сальваторе Квазимодо занемог с сердцем и потому отсутствует. К нему решили отрядить небольшую делегацию, чтобы поприветствовать и пожелать выздоровления. Назвали имена Алигер и Заболоцкого. «Николай Алексеевич встал и слегка поклонился, давая понять, что считает для себя честью эту миссию, – пишет Хелемский. – Между тем он явно побледнел. Очевидно, самочувствие Заболоцкого было таково, что направлять к больному, да ещё сердечнику, его не стоило. <...> Но Заболоцкий поехал к захворавшему гостю. Чувству самосохранения он предпочёл чувство долга и человеческое участие».

Приехав в гостиницу «Москва», Маргарита Алигер и Николай Заболоцкий увидели, как из дверей санитары выносят на носилках Сальваторе Квазимодо. У него обнаружили тяжёлый инфаркт. Заболоцкий почувствовал сильную боль в сердце и отправился домой. Вызвали врача, и тот прописал ему постельный режим.

Сын вспоминал, что отец лежал у себя на тахте, читал, думал.

Однажды он попросил Екатерину Васильевну подать в постель снимки, сделанные после церемонии недавнего награждения. Никита Заболоцкий пишет: отец аккуратно подрезал фотографии ножницами «...» и отрезанные полоски с изображением ордена велел выкинуть в помойное ведро». Конечно, это был чисто символический жест, посланный не столько историческому времени, сколько *вечно светящим небесам*, перед которыми все рано или поздно предстают. «По иронии судьбы, – продолжает сын, – на рекламной доске фотоателье парадная фотография с орденом красовалась ещё долго после смерти поэта. А вот этого-то он и боялся. Он хотел предстать перед потомками таким, каким, в сущности, и был: без житейской суетности и мелкого тщеславия. Несмотря на “дурную” социальную почву, на которой ему приходилось возвращать свою поэзию, он верил, что в ней-то, в поэзии, он сумел постоять за себя. И это сознание творческой победы было для него лучшей наградой». ...Да и орден-то, вспомним, дали за переводы, а не за собственные стихи; за стихи же дали – *срок*.

В первых числах октября его состояние ухудшилось, с постели он не вставал. 6 октября, лёжа, Заболоцкий составил своё *Литературное завещание*, определив состав стихотворений и поэм, предназначенных к своему «полному собранию».

Жене, дежурившей возле него, рассказывал о том, что ему хотелось бы ещё успеть. В записках Екатерины Васильевны это осталось: «Он говорил, что ему надо два года жизни, чтобы написать трилогию из поэм “Смерть Сократа”, “Поклонение волхвов”, “Сталин”. Меня удивила тема третьей поэмы. Николай Алексеевич стал мне объяснять, что Сталин – сложная фигура на стыке двух эпох. Разделаться со старой этикой, моралью, культурой было ему нелегко, так как он сам из неё вырос. Его воспитала Грузия, где правители были лицемерны, коварны, часто кровожадны. Николай Алексеевич говорил, что Хрущёву легче расправиться со старой культурой, потому что в нём её нет».

Если идеи о Сократе и Сталине были новыми, то о *поклонении волхвов* Заболоцкий задумывался ещё в обэриутской молодости. Л. Липавский записал тогда за ним его слова: «Удивительная легенда о поклонении волхвов, высшая мудрость – поклонение младенцу. Почему об этом не написана поэма?» Потрясающий по размаху замысел – от греческой золотой античности до наших дней, и в сердцевине – младенец Иисус, зарождение христианства!..

Вечер 13 октября, вспоминает сын, семья провела вместе. «По телевизору смотрели фильм “Летят журавли”. Николай Алексеевич лежал на тахте, чувствовал себя неплохо и был в хорошем настроении».

Утром 14 октября Заболоцкий нарушил запрет врачей и поднялся с постели – пошёл в ванную комнату, побрился. Ему стало плохо, сам дойти до кровати он уже не мог. Вызвали врача – укол оказался бесполезен.

Последние слова, которые он произнёс, были:

– Я теряю сознание...

На рабочем столе Николая Алексеевича Заболоцкого остался чистый лист бумаги. На нём всего три слова:

«1. *Пастухи, животные, ангелы.*

2.»

Это были последние слова, которые написал поэт.

